

НОВАЯ ПОЛЬША

№4₍₈₅₎



2007

Как бороться с монополиями

**Гомбрович, Фицовский и Помяновский
О БРУНО ШУЛЬЦЕ**

Рышард Капустинский в роли поэта

Новая книга Петра Войцеховского

Как польские писатели защищали Бориса Пастернака

Ирена Сендлер заслуживает Нобелевской премии

ВАРШАВА

ISSN 1508-5589

Приглашаем всех читателей посетить интернет-сайт «Новой Польши»:
www.novpol.ru

НОВАЯ ПОЛЬША

ISSN 1508-5589



№ 4(85)
2007
апрель

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

	КАК БОРОТЬСЯ С МОНОПОЛИСТАМИ <i>Беседа с Анной Стржижской</i>	3
	Виктор Кулерский ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ	6
	НАШИ ЛЮДИ Ежи Корчак УКРОЩЕНИЕ СТРАХА	13
	Дорота Ярецкая ИСКУССТВО И ШОА	18
	Витольд Гомбрович ТВОРЧЕСТВО БРУНО ШУЛЬЦА	20
	Ежи Помяновский ТАМОЖЕННИК ИЗ ДРОГОБЫЧА	22
	Ежи Фицовский ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ <i>или Последний путь Бруно Шульца</i>	25
	Владимир Абарин КАТЫНСКИЙ ЛАБИРИНТ	32
	РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ КАТЫНСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ	54
	Константин Кедров ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ, ИЛИ КАПРИЗЫ ИСТОРИИ	60
	Лешек Шаруга СЛОВА ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ	62
	Рышард Капустинский СТИХОТВОРЕНИЯ	63



Петр Войцеховский
СЕНТЯБРЬ

67

Отрывок из нового романа «Дождись новолуния»

ТВОРЕЦ ВЫМЫШЛЕННОЙ ИМПЕРИИ

71



Моника Вуйтяк
«ДЕЛО» БОРИСА ПАСТЕРНАКА

72



Янина Куманецкая
ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

79



Лешек Шаруга
ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

82

Редакционный совет

Стефан Братковский
Генрик Возняковский
Наталья Горбаневская
Ежи Клочовский
Кароль Модзелевский
Януш Тазбир
Станислав Цёсек

Ежи Помяновский

(главный редактор)

Редколлегия

Элиза Вольская
Наталья Горбаневская
Никита Кузнецов
Виктор Кулерский
Янина Куманецкая
Петр Мицнер (зам. гл. редактора)
Кристина Пашек (секретариат)
Гжегож Пшебинда
Ежи Редлих
(зам. гл. редактора, секретарь редакции)
Лешек Шаруга
Дмитрий Шевионков-Кисмелов
(главный художник)

Графика и макет

Дмитрий Шевионков-Кисмелов

Техническая редакция

Паулина Зеленая

Адрес редакции

Al.Niepodległości, 213
02-086 Warszawa
Ал. Неподлеглости, 213
02-086 Варшава
тел: (0-22) 608 27 95; 608 25 65
факс: (0-22) 608 25 05; 608 27 96
e-mail: nowpol@bn.org.pl

Информация о журнале для стран СНГ:

Издательство МИК, Москва,
ул. Большая Переяславская,
д.15, кв.49
тел: 621-41-42
e-mail: mic@inbox.ru

Журнал издается под патронажем
Национальной Библиотеки
по поручению Министра Культуры
и Национального Наследия
Республики Польша

Тираж 4800 экз.

Переводчики: И. Адельгейм, А. Базилевский, Е. Гендель, Н. Горбаневская,
Т. Дзядко, А. Ермонский, Н. Кузнецов, Е. Шиманская.

Фото ©: Agencja Gazeta (стр. 13), Archiwum (стр. 19), Wiera Meniok (стр. 25)



КАК БОРОТЬСЯ С МОНОПОЛИСТАМИ

*Беседа с Анной Стрежинской,
председателем Управления электронной коммуникации*

Анна Стрежинская наложила самый высокий на сегодняшний день штраф — 100 миллионов злотых — на компанию «Польские телекоммуникации» (ПТ) и говорит, что может его повысить.

— Какой телефон у вас дома?

— Естественно, у меня телефон от ПТ. Впрочем, все мы в каком-то смысле подключены к сети ПТ: у этой фирмы всепольская телефонная сеть, которая создавалась на протяжении десятков лет. И даже если у меня есть выход на программу «Скайп» через «Теле2» и я могу воспользоваться благами конкуренции в телекоммуникации, мне все равно приходится платить абонентскую плату ПТ. Чтобы можно было воспользоваться конкурентными услугами, надо допустить в сеть ПТ и других операторов. Если они будут дешевле и если их удовлетворят более низкие наценки, то и абонентская плата снизится.

— В сентябре вы наложили штраф в 100 млн. злотых на ПТ за то, что компания, пользуясь своим монопольным положением, медлила с отделением оплаты за систему [подключения к Интернету] «Нео-страда» от абонентской платы. За одно только пользование соединением ПТ хотела брать 36 злотых. Вы же предлагали не более 27-ми. И что теперь?

— Наверное, выбора у нас нет, и придется начать очередную процедуру по применению штрафных санкций. Совершенно неприемлемо, чтобы компания взимала 51% наценки за один лишь ценовой элемент, за обслуживание функции соединения.

— Насколько высоким будет штраф на этот раз?

— По всей вероятности, он будет максимальным — 3% от годового дохода фирмы; это составит около 376 млн. злотых.

— А компания уже заплатила какой-то штраф?

— Решения, принятые нашим управлением, не вступают в силу немедленно, и ПТ подала апелляцию. Теперь мы ждем решения суда.

— Люди вас любят?

— Я получаю множество писем, в которых мне выражают симпатию. Недавно, например, пришло такое: «Мне не нравится «Право и справедливость», но председатель Управления электронной коммуникации мне импонирует».

— В 1998-2001 гг. вы были советником у трех сменявших друг друга министров связи, и никто вам симпатии не выражал.

— Советники обычно не видны. К тому же тогда не было таких громких дел, как стомиллионный штраф, наложенный на ПТ. Впрочем, тогда невозможно было даже представить себе нечто подобное, поскольку бытовало мнение, что ПТ — это наш национальный оператор и его надо защищать. Даже за счет его клиентов.

— А может, действительно надо?

— По моему мнению, интересы оператора никак не могут быть национальными интересами.

— А почему вас любят теперь? Если абстрагироваться от того, что вы наложили штраф в 100 миллионов на ПТ.

— Потому что я упрямо настаиваю на том, что люди наконец должны получить возможность выбирать цены. Кроме того, они должны увидеть, что власть может действовать в интересах граждан. У нас есть электронный адрес: uke@uke.gov.pl, на который поступают жалобы от тех, кто оказался бессилем перед оператором.

— И много поступает таких жалоб?

— В этом году — более десяти тысяч.

— Что же пишут люди?

— Прежде всего в этих письмах сквозит ощущение безнадежности.

— Этот электронный адрес вы открыли?

— Нет, но я изменила принципы его функционирования. Теперь жалобами занимаются сотрудники не только центрального управления, но и наших представительств. В общей сложности почти 30 человек, а не несколько. И я надеюсь, что после внесения изменений в законодательство этих людей будет еще больше. Впрочем, нам пишут



не только те, кто жалуется, но и те, кто хочет помочь. Люди следят за всем, чем занимается наше ведомство, ибо всё отражено на нашем сайте в Интернете, и дают советы. Например: «Уважаемое УЭК, я слышал, что у вас проблема с системами данных ПТ. Я изучил этот вопрос и...»

— ...и что?

— Это был совет, как решить вопрос отделения «Неоотрады» от телефона. Я сообщила на нашем сайте, что мы занимаемся этим вопросом, но еще не знаем, какова будет стоимость «Неоотрады» после отделения. Тогда мне пришло сообщение с вопросом, знаю ли я, что в прайсе ПТ есть услуга по временной отсрочке абонентской платы и что если есть такая оплата, то она должна покрывать стоимость пользования соединением. Благодаря этому сообщению появился шанс платить за систему «Неоотрада» плюс стоимость обслуживания функции соединения без абонентской платы.

— «Польская почта» тоже пользуется монополистскими методами?

— Она — монополист на рынке почтовых отправок весом до 50 граммов. Монополия не приносит пользы ни клиентам, ни конкурентам, ни — вопреки ожиданиям — самому монополисту, хотя не следует питать иллюзий, что найдется множество операторов, которые захотят возить письма в пресловутый Мухосранск. В Гданьск — безусловно да, но не в провинцию. Поэтому следует думать о нерентабельных адресных линиях и защищать клиентов, которые имеют право на обычные почтовые услуги, а заодно стараться обеспечить почте компенсацию за действительно нерентабельную деятельность. Впрочем, почте тоже с нами приходится несладко.

— Почему?

— Потому что мы указываем ей на задержки и потери почтовых отправок, за которые она не желает отвечать, на недостатки в работе с рекламациями. Но должна заметить, что если на рынке продуктов телекоммуникации я могу сделать очень много, то из-за слабости почтового законодательства наше управление лишено простейших инструментов в деле защиты интересов клиента.

— Вас тоже можно кое в чем упрекнуть. Например, вы уделяете мало внимания своей семье.

— У меня нет выбора: лучшие сотрудники уходят из нашего управления, частные предприниматели платят им больше. Поэтому всё более сужается круг наших энтузиастов, которым приходится работать по ночам. Государство ведь платит мало, но взамен требует полной самоотдачи.

— Как выглядит ваш день?

— Я уйду на работу в полвосьмого утра, возвращаюсь в девять вечера. Девочки меня ждут. В десять им пора ложиться спать, но они бунтуют, потому что сейчас они как раз в том возрасте, когда нужно поговорить с мамой, как женщине с женщиной. Мы разговариваем до полуночи. Потом я сажусь за компьютер, просматриваю почту, отвечаю на электронные письма, разбираюсь с той работой, которую взяла на дом. Ложусь спать около двух.

— А муж?

— В это время он сладко спит.

— Чем он занимается?

— Он психотерапевт, лечит от алкоголизма, наркомании и т.п. Когда у нас родилась вторая дочь, мы поняли, что он один уже не сможет содержать семью. Тогда мы решили, что я пойду работать, а он будет заниматься детьми. Так оно и осталось. Я говорю мужу, что раз уж я взялась за это дело, то должна сдерживать слово. Впрочем, муж всегда понимал, что если я должна содержать семью на должном уровне, то и работать мне придется больше.

— Ваш муж вообще-то знает, чем вы занимаетесь?

— Думаю, что когда он сидит в Интернете, то читает про то, что делает жена. Дети тоже больше видят меня в Интернете и в газетах, чем в реальности. Я утешаю себя тем, что дети видят мое ответственное отношение к работе, мою преданность делу и учатся этому.

Цифры Анны Стрежинской

100 млн. злотых — штраф с ПТ за незаконное уязвление системы «Неоотрада» с абонентской платой за телефон;

5 млн. злотых — штраф с «Центртелея» (польского оператора сотовой связи, купленного ПТ) за предоставление УЭК невятной и ложной информации;

3 млн. злотых — штраф с ПТ за невыполнение обязательств по предоставлению информации о номерах абонентов всех телефонных сетей;

1 млн. злотых — штраф с фирмы «Теле2 Польша» за невыполнение обязательств по предоставлению абонентам информации, необходимой для заключения договоров по телефону;

1 млн. злотых — штраф с ПТ за отсутствие устной информации о цене услуги перед соединением, например, с номерами 0700;

12 — общее количество штрафов в 2006 году.



— **Вы помните свое первое дело против монополиста?**

— Разумеется: «Телеком-Люблин» против ПТ. Я работала тогда младшим референтом в Управлении защиты конкуренции и потребителей. Речь шла о том, что ПТ не желала сотрудничать и состыковывать сети. Это было сложное дело, надо было очень быстро вникнуть во все технические детали. Мне надо было узнать, где находится сама точка стыковки, как происходит обмен движения в сети и т.п. Прежде телефон для меня был просто телефоном, а что там за розеткой — этого для меня уже не существовало.

— **Вы выиграли?**

— Да, и очень этому радовалась. Шампанского, правда, не было, рассмотрение подобных дел тянется очень долго, а у меня уже шло еще несколько других дел.

— **А как вообще получилось, что вас поставили руководить Управлением электронной коммуникации?**

— Перед последними выборами в Сейм у меня были беседы с обеими партиями — и с ПиС, и с «Гражданской платформой» — о том, как надо формировать это ведомство и что в нем следует изменить. Я подготовила стратегию, опубликовала много материалов о том, что делается в этой области в мире. После выборов, на которых ПиС одержал победу, министр транспорта Ежи Полячек предложил мне должность замминистра. Скажу, что принять решение было очень трудно: во-первых, такая должность не по моему темпераменту, во-вторых, мне пришлось в невероятном темпе ликвидировать свою собственную фирму, в-третьих, с финансовой точки зрения это было чрезвычайно невыгодное для меня решение...

— **... невыгодное?**

— Прежде я руководила фирмой и зарабатывала больше. Люди говорят, что во власть идут для того, чтобы быть ближе к кормушке, но часто это происходит просто по зову души и сердца. Потому что есть шанс сделать что-то для страны, потому что кто-то говорит: пойдем, надо помочь.

— **Так почему же вы приняли это предложение?**

— Потому что политики говорили о переменах, потому что прежде я пять лет говорила о том, что знаю, как эти перемены осуществить. Потому что я отвечаю за то, что говорю, потому что мой отказ означал бы, что я боюсь не выдержать испытания.

— **Вы невероятно принципиальны.**

— Когда я была маленькой, мы с отцом ходили гулять. На стенах везде были нарисованы значки КОРа [Комитета защиты рабочих] и КНП [Конфедерации независимой Польши]. Я спрашивала, что они означают, и отец мне рассказывал, что это такое и почему их замазали. Он говорил о риске, с которым связано изображение такого знака, и о смелости, которой обладают делающие это люди. Я понимала, что бывают вещи, ради которых стоит рисковать головой. Я почувствовала ответственность за свою страну, хотя мне бы не хотелось употреблять высокие слова.

— **Какие слова?**

— Патриотизм и отечество. Я глубоко переживала военное положение. Потом я принимала участие в том, что происходило в храме св. Станислава Костки [где служил о. Ежи Попелушко].

— **Как вы туда попали?**

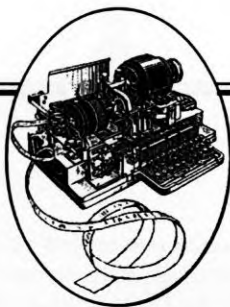
— Подружка сказала, что отца Ежи Попелушко вызвали во Дворец Мостовских [здание госбезопасности] и надо его поддержать, оказать помощь до и после допроса, пойти к Дворцу Мостовских и оказывать давление. Мы пошли и встали в уголке, оказавшись среди металлургов и всех, кто туда пришел. И тут нас увидел отец Попелушко, подошел к нам и спросил, что мы тут делаем. Мы ответили, что пришли его поддержать и что нам не все равно, что творится в Польше. Знаю, теперь это звучит напыщенно, но тогда я была молода и душа моя была чиста, поэтому я так и сказала. Он пригласил нас на чай, а мы всё спрашивали, можем ли мы чем-то помочь. Он ответил, что дело всегда найдется. Ну и потом я разносила распечатку его проповедей, занималась разборкой гуманитарной помощи, организовывала помощь одиноким матерям, водила экскурсии, рисовала плакаты.

— **Вы играете в «Монополию»?**

— Да, но как правило проигрываю. Я не умею заниматься обменом, я не способна вести бизнес. Не умею играть на бирже, не располагаю средствами на инвестиции. С кубиком мне тоже не везёт — вечно «попадаю в тюрьму».

Беседу вел Томаш Квасневский

gazeta



Виктор Кулерский

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• «По данным Главного статистического управления (ГСУ), в последнем квартале прошлого года рост польской экономики составил 6,4% ВВП. За год экономика выросла на 5,8%. По оценкам министерства финансов, этот год может стать еще более удачным». (*«Жечпосполита», 3-4 марта*)

• «Почти 15 млрд. долларов достигли капиталовложения иностранных фирм в Польшу в 2006 году (...) Как сообщил Польский национальный банк (ПНБ), это самая большая цифра за всю историю. Несмотря на то, что три четверти инвестиций поступает к нам из стран ЕС, 2006 год стал особенно успешным для дальневосточных фирм (...) В Польшу инвестиции составили 14,7 млрд. долларов, в Чехии — 7,3 млрд., в Венгрии — 6,9 млрд., в Словакии — 3,7 миллиарда. (...) Рекордному притоку инвестиций в 2006 г. мы во многом обязаны фирмам из Японии. Среди крупнейших инвесторов прошлого года преобладают японские концерны». (*«Жечпосполита», 13 февр.*)

• «По данным Главного управления строительного надзора, в 2006 г. число разрешений на строительство выросло почти на 17%». (*«Газета wyborcza», 20 февр.*)

• «По данным ГСУ, в январе объем промышленного производства был на 15,6% больше, чем год назад. Это намного (на 11,8%) больше, чем предвидел рынок». (*«Газета wyborcza», 20 февр.*)

• «По данным ГСУ, в январе объем розничных продаж товаров и услуг был на 16,5% больше, чем год назад (...) До сих пор в это время года данный показатель не превышал 12-13%». (*«Дзенник», 25 февр.*)

• «Как сообщило вчера ГСУ, в январе зарплаты на предприятиях выросли на 7,8% (...) Средняя зарплата в крупных фирмах составляет более 2660 злотых». (*«Дзенник», 16 февр.*)

• «Министерство финансов сообщило, что в период с января по февраль инфляция в Польше выросла с 1,7 до 1,9%». (*«Дзенник», 16 февр.*)

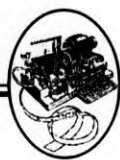
• «К концу декабря прошлого года общая сумма сбережений домашних хозяйств выросла на 23,1% и составила 582,9 млрд. злотых. Таких хороших показателей не было уже много лет (...) Пятую часть своих сбережений, т.е. около 130 млрд. зл., поляки вложили в акции (...) Большой популярностью про-

должают пользоваться и депозиты: почти 240 млрд. зл. мы храним на вкладах в злотых или в иностранной валюте. Это на 8% больше, чем в 2005 году». (*«Дзенник», 2 марта*)

• «Британский Центр европейских реформ (CER) (...) публикует доклады, показывающие, насколько различным [европейским] странам удастся осуществлять стратегию, направленную на то, чтобы к 2010 г. Европа стала самым конкурентоспособным экономическим регионом в мире. Среди стран-членов ЕС Польша заняла последнее, 27-е место. «Польское правительство предпринимает недостаточные усилия для того, чтобы устранить барьеры, мешающие развитию. У вас недостаточно развита инфраструктура, вам необходимо улучшить систему образования и углубить реформу рынка труда. В прошлом году мы заметили не много областей, в которых положение улучшилось», — говорит экономист CER и один из соавторов доклада Саймон Тилфорд». (*«Газета wyborcza», 27 февр.*)

• «Из доклада ЮНИСЕФа: (...) По качеству образования Польша заняла третье место среди 21 самой развитой страны мира (...) Эксперты сосредоточились на шести сферах жизни (...) В итоге Польша заняла 14-е место. На нашу оценку отрицательно повлияли материальные условия, в которых живут польские дети. Как показали исследования, в этой категории мы занимаем последнее место. Дети жалуются на бедность и отсутствие учебных пособий. Именно в Польше больше всего домов, где нет даже десяти книг». (*«Дзенник», 15 февр.*)

• «В последние годы мы пытаемся наверстать упущенное, но прошлое дает о себе знать. В Эстонии и Ирландии высшее образование имеют почти 24% населения, в Финляндии — более 23-х, в Литве и Германии — около 18-ти. В Польше — 10,2% (...) В течение 40 лет, до 1988 г., вузы окончили более 2 млн. человек, а в течение следующих 17-ти — целых 2,5 миллиона (...) В период преобразований мы вступили с 20 миллионами граждан с неполным средним — общим и профессиональным — образованием, что составило почти 69% общества. Но и сегодня их по-прежнему около 17 миллионов — 53%». (*Марек Боровский, «Политика», 3 марта*)



• Яцек Денель, писатель: «Весь XIX век поляки, не щадя сил, воспитывали новые поколения элиты, но стоило им вырастить очередное поколение, как его тут же уничтожали, умыкали, ссылали, вынуждали эмигрировать (...) Превратности судьбы либо полностью уничтожили эту группу (шляхту — в восстаниях, мещан и интеллигенцию — частично в войнах и советских лагерях, а частично, вместе с ассимилировавшейся еврейской интеллигенцией, — в концлагерях), либо чудовищно оподлили ее. Материально — лишая имущества и жилья, переселяя; интеллектуально — подавляя культурную жизнь, давя цензурой, исключая из вузов; и наконец этически — (...) пропагандируя сервиллизм (...) Всем этим мы обязаны Франку, Апухтину, Беруту, Бисмарку, Муравьеву и им подобным». (*«Политика», 3 марта*)

• «Польская проблема №1 — это разложение умов, вызванное уничтожением довоенной элиты, массовым выдвигенчеством и полувековым применением коммунистической социотехники (...) Полвека коммунизма отбросили поляка далеко назад, к крепостной ментальности (...) Он верит только в то, что может загрести. Он никому не доверяет (...) ему чуждо понятие общего блага». (*Рафал А. Земкевич, «Политика», 3 марта*)

• Проф. Лена Колярская-Бобинская: «Уровень взаимного доверия поляков — один из самых низких в Европе. Людям доверяют лишь 14% опрошенных (...) За последние полтора десятка лет вместо роста доверия наблюдается его падение на всех уровнях: на высшем — к учреждениям, процедурам, политикам, и на низшем — друг к другу. В результате люстрационного скандала вокруг архиепископа Станислава Вельгуса сильно упало доверие и к Церкви — одному из трех институтов, пользовавшихся наибольшим доверием поляков. Теперь неизменным доверием пользуются только армия и полиция». (*«Политика», 3 марта*)

• «Личность Михника продолжает приковывать внимание СМИ. Проще всего приписать это человеческой зависти, сопровождающей каждого, кого с почестями принимают сильные мира сего. Мы не любим баловней судьбы и даже не пытаемся скрыть эту гнусную черту (...) В своем интервью «Антиморальная революция» проф. Михал Гловинский обращает внимание на продолжающуюся борьбу с символами: символ необходимо очернить, что мы сейчас и наблюдаем». Эта ситуация напоминает шум вокруг Лешека Бальцеровича до его ухода с государственной службы. (*Станислав Подемский, «Тыгодник повсехний», 10-11 марта*)

• Шевах Вейс, бывший посол Израиля в Польше: «Он был одним из немногих «прозревших» марксистов (...) Поэтому хорошо, что в этом году Иерусалимскую премию «за популяризацию идеи свободы личности в обществе» получил польский философ, публицист, поэт и писатель Лешек Колаковский (...) Он учит нас сомневаться, проверять истинность теорий, систем и политических лидеров. А еще он считает, что люди должны сами отвечать за свою судьбу (...) В 1968 г., когда десятки тысяч евреев были вынуждены покинуть Польшу из-за государственного антисемитизма, (...) Колаковский уехал из страны вместе со своей женой-еврейкой (...) Награждение Колаковского подтверждает близость двух самосознаний — еврейского и польского». (*«Впрост», 25 февр.*)

• «Кшиштоф Чижевский, директор центра «Пограничье», стал лауреатом Премии им. Александра Гейштора, присуждаемой с 1999 г. Фондом Кроненберга при «Ситибанке Хандлёвом» (...) 18 лет назад Чижевский въехал в Сейны на цыганской повозке и получил в собственность заброшенную синагогу. Сегодня это место известно в Европе как центр «Пограничье» (...) Центр поддерживает культуру приграничных народов (...) Есть фонд, издательство, журнал «Красногрудка». Создаются фильмы о национальных меньшинствах, ставятся спектакли, организуются встречи, выставки, занятия с детьми». (*«Жечпосполита», 12 февр.*)

• «64 года не виделись встретившиеся в Варшаве поляк Юзефа Трач-Чекай и спасенная ею во время оккупации еврейка Мириам Шметтерлинг (...) Десять месяцев две еврейские семьи прятались на чердаке над квартирой Трачей в одном из пригородов Львова (...) Напротив дома размещался участок немецкой и украинской полиции (...) Более того, в декабре 1943-го в доме Трачей разместился штаб немецкой воинской части. Несмотря на это (...) обе еврейские семьи дождались прихода советской армии». (*«Жечпосполита», 28 февр.*)

• «Впервые в истории польские священники приехали на лекции в институт «Яд-Вашем». Их тридцать человек из разных епархий. В течение 11 дней они ходили на лекции, встречались с раввинами и людьми, которым удалось пережить войну (...) Этот визит открывает новую главу в диалоге польской Церкви с иудаизмом. Никогда прежде в «Яд-Вашем», исторический институт, документирующий уничтожение евреев, не приезжала столь многочисленная группа польского духовенства (...) Визит польских священников настолько специфичен, что институт



выделил на него дополнительные бюджетные средства, подготовив специальную программу встреч (...) Расширения программы хотели сами священники (...) Епископ Мечислав Цисло сообщил, что как только это будет возможно, в Иерусалим отправится следующая группа польского духовенства». (*Артур Грабарчик, «Дзенник», 13 февр.*)

• «Пятая колонна в лоне польской Церкви — вот что такое безнаказанно разрастающаяся империя Тадеуша Рыздыка (...) Возникает множество вопросов. Сомнительные подробности биографии Рыздыка. Обоснованные опасения, что он объективно служит российским интересам. Исчезнувшие деньги, собранные на спасение [Гданьской] судоверфи. Запутанные финансовые операции. Многие говорят о том, что, греша непослушанием церковному начальству и по сути дела находясь на грани ереси, он идет к открытому расколу. Он собрал вокруг себя слепо преданных, преклоняющихся перед ним приверженцев, которые публично поносят Папу и осыпают бранью и угрозами инакомыслящих: мнимых евреев, масонов, либералов, продажных писак (...) Тройственный союз «Права и справедливости» (ПиС), «Самообороны» и «Лиги польских семей» (ЛПС) был заключен в штаб-квартире Рыздыка (...) Политики правящей коалиции совершают массовые паломничества на радио «Мария» и ТВ «Трвам», которые почти монополизировали презентацию официальной точки зрения в СМИ». (*Томаш Волек, «Политика», 10 марта*)

• «Один из самых известных [польских] богословов, 55-летний о. проф. Томаш Венцлавский сложил сан (...) Уже в который раз за последнее время от сана отказался широко известный священник. В январе о своем уходе из священства объявил доминиканец Тадеуш Бартось, автор критических статей об институте Церкви. В 2005 г. широкую огласку получил также уход из ордена иезуитов о. Станислава Обирека, который прославился своими критическими высказываниями об Иоанне Павле II (...) По данным статистической службы Ватикана, в 1998 г. в Польше было 32 [сложивших сан] приходских священника, а в 2004-м — уже 57, что составляет 0,24% всего приходского духовенства». (*«Дзенник», 10-11 марта*)

• «Сегодня в полдень епископ Казимеж Ныч назначен митрополитом Варшавским (...) Ныч был епископом-суффраганом в Кракове, считался правой рукой кардинала Францишека Махарского. Он поддерживал вступление Польши в Евросоюз и

даже приказал бить в колокол Зигмунта [в Вавельском кафедральном соборе] в день нашего вступления в ЕС». (*«Газета wyborcza», 3-4 марта*)

• «Единогласным решением Сената о. Мариан Желязек признан «достойным подражания образом поляка, преодолевающего барьеры между людьми». Монах из ордена вербистов, названный отцом прокаженных, полвека служил миссионером в Индии. Дважды он был в числе кандидатов на Нобелевскую премию мира. Он умер в прошлом году». (*«Тыгодник повшехный», 4 марта*)

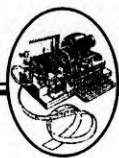
• «Власти гмины Сусец в Люблинском воеводстве выкупили у частных владельцев землю, на которой в конце II Мировой войны располагался лагерь НКВД. В лагере содержались главным образом бойцы Армии Крайовой (...) Это было место казней. До сих пор многие старожилы называют его «малой Катынью» (...) Комендантом лагеря был капитан НКВД Владимир Коновалов. 26 марта 1945 г. в лагере вспыхнул бунт (...) Коновалова и нескольких его подчиненных пленные приговорили к смерти и казнили». (*«Дзенник», 6 марта*)

• ««Правительство и премьер-министр выступают за то, чтобы прийти к соглашению по вопросу [противоракетного] щита», — сказал вчера на пресс-конференции Ярослав Качинский, добавив, что американский противоракетный щит должен обеспечить безопасность Польши». (*«Жечпосполита», 16 февр.*)

• ««Мы дадим положительный ответ на предложение американцев, касающееся противоракетного щита», — заявили вчера в Варшаве премьер-министры Чехии и Польши (...) «Мы постараемся убедить россиян в том, что очевидно и о чем они хорошо знают, — что эта система ни в коем случае не направлена против них. Об этом свидетельствуют и технические данные», — сказал премьер-министр Качинский». (*«Дзенник», 20 февр.*)

• Из статьи, написанной совместно премьер-министрами Польши и Чехии Ярославом Качинским и Миреком Тополанеком: «В настоящее время польско-чешские отношения переживают лучший период за всю новейшую историю наших государств и народов (...) Польско-чешское сотрудничество — это не просто магическое заклинание, повторяемое на встречах представителей власти. Это повседневная реальность местных сообществ». (*«Жечпосполита» и «Млада фронт-а днес», 19 февр.*)

• Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВЧН) России генерал-полковник Николай Соловцов: «Ракетные войска страте-



гического назначения будут способны в качестве целей иметь и эти объекты [противоракетной обороны США, размещенные в Польше и Чехии]». (*«Газета wyborcza»*, 20 февр.)

• ««Польша не будет спрашивать у России разрешения на размещение баз ПРО», — заявил вчера в Брюсселе министр обороны Александр Щигло (...) В том же духе высказался и чешский министр иностранных дел Карел Шварценберг». (*«Жечпосполита»*, 21 февр.)

• «Литва требует от России возобновления поставок нефти на Мажейкяйский НПЗ и хочет, чтобы ее поддержал Евросоюз (...) Проблемы начались ровно тогда, когда оказалось, что владельцем завода будет Польский нефтяной концерн «Орлен»». (*«Тыгодник повсехный»*, 4 марта)

• «По территории Польши (из России через Белоруссию) проходят два важных для экспорта российского сырья трубопровода: Ямальский, по которому транспортируется газ, и «Дружба», по которому поступает нефть. Из Ямальского трубопровода Польша берет около 30% [необходимого ей] газа, а «Дружба» поставляет нашим нефтеперерабатывающим заводам 90% нефти (...) Через несколько лет российский газ пойдет по дну Балтийского моря, а нефть будет доставляться на танкерах из порта в Приморске». (*Агнешка Лакома*, *«Жечпосполита»*, 19 февр.)

• «Евросоюз согласился учесть польские предложения, касающиеся энергетической безопасности (...) ЕС принял поправки, предложенные президентом Лехом Качинским (...) В итоговых документах встречи в верхах ЕС говорится, что европейская энергетическая политика будет осуществляться «в духе солидарности государств-членов». Одной из главных целей должно стать «повышение безопасности поставок» для всего Евросоюза в целом и каждой страны в отдельности». (*«Дзенник»*, 10-11 марта)

• «Спустя почти год после наложения эмбарго Украина открыла границы для [продукции] 23 [польских] мясокомбинатов (...) Вчера российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору заявила, что усилит контроль за поставками мяса и мясопродуктов с Украины, чтобы не допустить проникновения в Россию польского мяса». (*«Жечпосполита»*, 16 февр.)

• «Вчера премьер-министры Литвы и Польши подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве в Игналине атомной электростанции. Доля Польши в этом предприятии будет составлять 22%». (*«Жечпосполита»*, 3-4 марта)

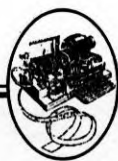
• «Президент Лех Качинский и начальник Службы контрразведки Антоний Мацеревиц представили журналистам отчет комиссии по проверке деятельности Военной информационной службы (ВИС) (...) В числе незаконных действий ВИС были названы, в частности, торговля оружием, покровительство русской мафии и преступникам, стремящимся захватить контроль над польским энергетическим сектором (большая часть этих дел ранее была передана в прокуратуру или описана СМИ)». (*«Тыгодник повсехный»*, 25 февр.)

• «Не стихают отголоски опубликованного 16 февраля отчета о ликвидации ВИС (...) Из польских дипломатических представительств отзываются все новые дипломаты, упомянутые в отчете как сотрудники военных спецслужб». (*«Тыгодник повсехный»*, 4 марта)

• «Отчет должен был потрясти общественное мнение и обосновать необходимость ликвидации ВИС (...) Последствия этой публикации могут оценить только специалисты, и только они могут установить, осталась ли в Польше после этой беспримерной акции хоть какая-то военная разведка и контрразведка. Во всяком случае этот отчет должна тщательно изучить следственная комиссия Сейма». (*Янина Парадовская*, *«Политика»*, 24 февр.)

• «Марек Пивовский, (...) режиссер культового фильма «Рейс», с детских лет дружит с бывшим офицером контрразведки Тадеушем Закшевским (...) В конце 50-х Закшевский завербовал Пивовского в контрразведку (...) Друзья режиссера Станислав Тым и Януш Гловацкий (...) сказали мне, что даже если он на них доносил, то они не в обиде, так как их уже тошнит от лютрации. Сам Пивовский уверяет, что в бытность сексотом не причинил никому вреда (...) Время от времени у меня возникало впечатление, что, разговаривая со мной, он создает сценарий нового фильма, высмеивает людей — так, как он высмеивал коммунистическую систему во времена ПНР», — пишет Виолетта Озминковски. После интервью с Пивовским и Закшевским она становится свидетельницей следующего диалога: «Тут Закшевский обращается к Мареку Пивовскому: — Прости, что я тебя завербовал. — Прошу прощения, но я сам к тебе пришел. — Ну тогда прости, что я на это согласился. — А ты меня прости за то, что я не работал как следует». (*«Ньюсуик-Польша»*, 11 марта)

• «Эва Милевич (*«Газета wyborcza»*): «Я не представляю лютрационную декларацию, которую, по [новому] закону о лютрации, должны заполнять журналисты». Войцех Мазовецкий (*«Пшекруй»*):



«Я не заполню декларацию о том, сотрудничал ли я с коммунистическими спецслужбами, прежде всего потому, что мне не нравится государство, ставящее под вопрос принцип презумпции невиновности». Яцек Жаковский («Политика»): «Можем ли мы безропотно выполнять несправедливые законы, с помощью которых наше государство унижает граждан?» Петр Найштуб («Пшекруй»): «Государство хочет от меня письменного подтверждения, что я не был сволочью или слабым человеком (...) Я не приду в участок, несмотря на то что получил повестку». (*«Газета wyborча», 8 марта*)

• Бунт против обязательной люстрации в СМИ ширится (...) Вчера к акции, организованной по инициативе Эвы Милевич и Яцека Жаковского, присоединились известные тележурналисты Томаш Лис, Камиль Дурчок и Гжегож Мецугов». (*«Дзенник», 9 марта*)

• Бронислав Вильдштейн «освобожден от должности директора общественного телевидения. Его обязанности [временно] исполняет Анджей Урбанский, советник президента Леха Качинского и бывший начальник его канцелярии». (*«Жечпосполита», 27 февр.*)

• «Уже в 17-й раз под Йонковом в Варминско-Мазурском воеводстве прошел чемпионат мира по метанию молота в телевизор (...) В соревнованиях на открытом воздухе (...) победил Пестек, житель близлежащей деревни Годек». (*«Дзенник», 5 марта*)

• Известные журналисты покидают Польское ТВ: новый начальник отдела информации, журналисты «Новостей»... Одни берут отпуска за свой счет, другие просто уходят с телевидения». (*«Жечпосполита», 1 марта*)

• В понедельник Здислав Рын был назначен послом Польши в Аргентине. Президент Лех Качинский одобрил его кандидатуру, несмотря на протесты многих дипломатов и парламентариев. «Назначение Рына — это издевка над парламентом», — сказал депутат «Гражданской платформы» (ГП) Ярослав Валенса, член комиссии по иностранным делам, которая в декабре прошлого года отвергла кандидатуру Рына». (*«Жечпосполита», 28 февр.*)

• «Наша демократия все еще увечна (...) Но «увечная демократия» и «демократия в опасности» — это разные вещи (...) Качинские сделали полезное дело, объявив себя представителями худшей части поляков, последовательно опираясь на них и втягивая их в политику. Ведь без участия широких общественных масс, в т.ч. и общественно недоразвитых, демократия становится квази-демо-

кратией (...) При Качинских (...) широкие общественные массы (...) почувствуют себя гражданами (...) Какую долю общества составляет интеллигенция? По разным оценкам, от 6 до 10%. Пис борется за необразованных людей, потому что их попросту больше. Вдобавок именно среди них больше тех, кому не удалось устроить свою жизнь в посттоталитарной Польше (...) Кроме того, их взгляды более постоянны. А образованные живут своим умом (...) и любят переносить свои симпатии с одной партии на другую». (*Марек Мигальский, «Ньюсуик-Польша», 25 февр.*)

• Проф. Бронислав Лаговский: «Популярность кализма в обществе связана с обещанием наказывать. Поэтому самый популярный политик — это министр юстиции Зеб्रो (...) Есть у демократии такая особенность, и сейчас она очень хорошо заметна в Польше и во всей Восточной Европе, где демократические образцы и процедуры еще слабо укоренены (...) В демократии есть две ключевые фигуры. Одна из них — это демагог, обещающий раздавать блага, которые он сперва у кого-нибудь отберет (...) и тратящий государственные деньги ради своей политической карьеры (...) Вторая фигура — это сикофант, т.е. открытый доносчик, наветчик (...) В последнее время роль сикофанта в европейских демократиях приобретает все большее значение». (*«Политика», 10 февр.*)

• «Ни в одном из прежних правительств не было так много молодых статс-секретарей и их помощников. Люди моложе сорока решают ключевые проблемы (...) Они более эффективны и прагматичны, чем то поколение, с которым братья Качинские боролись за свободную Польшу (...) Часто они лучше образованы, медийны и открыты к миру. Именно такие и будут создавать взлелеянную в мечтах Качинского народно-национальную партию. И им не придет в голову встать на его место». (*Зофья Войтковская, «Ньюсуик-Польша», 18 февр.*)

• Согласно опросу ГфК «Полония», за ГП хотят голосовать 36% избирателей, что дало бы ей 226 мест в Сейме; за Пис — 24% (154 места); за «Левых и демократов» — 7% (42 места); за «Самоборону» — 6% (36 мест). ЛПС набрала бы 3% голосов, а аграрная партия ПСЛ — 2%, т.е. обе эти партии не прошли бы в Сейм. (*«Жечпосполита», 14 марта*)

• «В начале февраля Партия женщин (...) была официально зарегистрирована (...) — объявила вчера ее создательница Мануэла Гретковская, писательница, известная своими феминистическими взглядами (...) Создано уже более 500 партий-



ных ячеек, к каждой из которых принадлежат по крайней мере 10 женщин. Такому интересу к Партии женщин могли бы позавидовать многие уже существующие группировки». Согласно опросу ЦИОМа, 61% поляков считает создание Партии женщин хорошей идеей, 17% — плохой. За новую партию готовы проголосовать 58% опрошенных, 22% высказались против. (*«Дзенник», 13 февр.*)

• «После вступления Польши в Евросоюз наблюдается лавинообразный рост заявлений на подтверждение польского гражданства (...) В 2001 г. таких заявлений было подано 2100, а в 2006-м — 6700 (...) Благодаря польскому паспорту можно свободно перемещаться по всем 27 странам ЕС, а на территории некоторых из них — легально работать или бесплатно учиться (...) Число лиц, которым президент предоставил гражданство, выросло с 988 человек в 2002 г. до 2696 в 2005-м». (*«Жечпосполита», 10-11 марта*)

• «Начиная со вторника десять экологов протестуют (...) в долине Роспуды (...) Они хотят защитить 20 тыс. деревьев, которые должны быть вырублены на первом этапе [строительства обьездной дороги вокруг Августова]». (*«Дзенник», 15 февр.*)

• По мнению замминистра внутренних дел и администрации Ярослава Зелинского, для обьездной дороги вокруг Августова «была выбрана худшая из возможных трасс. Те, кто за это отвечает, должны быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной. Но менять планы уже слишком поздно». (*«Газета wyborча», 19 февр.*)

• Мария Качинская, супруга президента: «Я всей душой за сохранение долины Роспуды в нетронутом состоянии. Эта долина сказочно прекрасна (...) Мы не можем оказаться варварами». (*«Газета wyborча», 22 февр.*)

• Уполномоченный по правам человека Януш Кохановский подал в суд жалобу против решения о строительстве автостраты, проходящей через долину Роспуды (...) Тем самым он показал, что его должностные обязанности важнее лояльности по отношению к тем, кто назначил его на эту должность». (*«Ньюсуик-Польша», 25 февр.*)

• «Вчера несколько сот жителей Августова пришли в лагерь экологов на берегу Роспуды (...) Свист, крики, скандирование лозунга: «Прочь отсюда!» (...) В лесу на берегу Роспуды живут уже более ста человек (...) Между деревьями стоят несколько десятков палаток, хотя неделю назад их было всего три (...) Люди берут отпуска, студенты отпрашиваются с лекций, а несколько эко-

фермеров оставили свои хозяйства на попечение семьи. Их объединяет одно — они не собираются уходить из леса, по крайней мере до 1 марта. Тогда начинается сезон гнездования птиц, и рубить лес будет нельзя вплоть до августа». (*«Газета wyborча», 26 февр.*)

• Комиссар ЕС по охране окружающей среды Ставрос Димас после встречи с министром Яном Шишко: «Я не вижу иного выхода, кроме продолжения дисциплинарной процедуры в отношении Польши и передачи дела в Европейский суд юстиции. Представленные нам разъяснения неудовлетворительны (...) Риск огромных потерь в результате строительства автостраты в долине Роспуды очевиден. Очевидно также, что Польша не выполнила требований европейского законодательства об охране окружающей среды. Ищите альтернативу». (*«Газета wyborча», 27 февр.*)

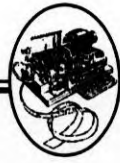
• Согласно опросу ЦИОМа, если бы проводился всенародный референдум о направлении обьездной дороги вокруг Августова, в нем приняли бы участие 63% поляков. За вариант, предлагаемый защитниками Роспуды, проголосовали бы 67%, а за вариант, поддерживаемый властями, — 22%. (*«Дзенник», 28 февр.*)

• «В ночь на среду неизвестные преступники закидали бутылками дом журналиста «Газеты wyborчей» Адама Вайрака в деревне Теремиски в Беловежской пуще, выбив в нем все стекла. Сам Вайрак живет сейчас в лагере экологов на берегу Роспуды (...) «В тот же вечер кто-то напал на моего лучшего друга из Теремисок — Марека», — говорит Адам Вайрак. Мужчина лежит в больнице с подозрением на перелом черепа». (*«Газета wyborча», 1 марта*)

• «У Польши есть семь дней, чтобы прервать строительство обьездной дороги вокруг Августова. Вчера Европейская комиссия сделала последнее предупреждение». (*«Жечпосполита», 1 марта*)

• «Государственный совет по охране природы призвал министра охраны окружающей среды и правительство приостановить строительство обьездной дороги вокруг Августова через долину Роспуды (...) «Таких торфяников, как на берегах Роспуды, нет во всей Европе (...) Строительство эстакады погубит их, и, вопреки заверениям правительства, это невозможно компенсировать», — утверждают ученые». (*«Газета wyborча», 7 марта*)

• «Спор об обьездной дороге продолжается. Вчера жители окрестных деревень блокировали дороги, ведущие к пограничным переходам в Литву и Белоруссию». (*«Жечпосполита», 13 марта*)



• «А все могло быть так хорошо! Предположим, что правительство объявляет об изменении злополучного варианта Августовской объездной дороги, губящего исключительную в масштабах континента долину Роспуды (варианта, за который оно, кстати сказать, не несет ответственности), и быстро намечает новую альтернативную трассу. Потом оно получает от ЕС деньги и приглашает туристов со всей Европы познакомиться с уникальными природными богатствами нашей страны. Роспуда была бы идеальной визитной карточкой подобного предприятия. Благодаря этому у нас (и у правительства) появились бы новые друзья — ведь Европа теперь «зеленая». Не говоря уже о реальной финансовой выгоде. Однако правительство выбрало очередной скандал». (Мартин Рышкевич, «Газета wyborча», 28 февр.)

• Иренеуш Хойнацкий, директор польского отделения Всемирного фонда дикой природы (организации, основанной в 1961 г. ЮНЕСКО): «Ученые из Йельского и Колумбийского университетов написали доклад, в котором оценивается состояние охраны природы в 133 странах (...) Среди 29 высокоразвитых стран мы заняли 25-е место (...) Что касается охраны дикой природы, то мы заняли 112-е место (...) Мы выполнили требования Киотского протокола, касающиеся выброса углекислого газа, но только потому, что сравнивались данные до начала перемен 1989 г., когда крупные промышленные предприятия обанкротились, и сокращение выбросов произошло само собой (...) Вполне неплохо идет строительство очистных сооружений, причем во всей Польше (...) К сожалению, это единственная область, которую доклад представляет в положительном свете». («Политика», 3 марта)

• Из официального сообщения Государственного совета по охране природы при министерстве охраны окружающей среды: «В нашей стране происходит быстрое истощение природных ресурсов. Это выражается в уменьшении численности и ареалов популяций, в вымирании видов, исчезновении и вырождении ценных биотопов, разбазаривании богатств неживой природы и ландшафта. Экономическое развитие невозможно без уважения к природному наследию». («Тыгодник повсехный», 18 марта)

• «В феврале 2006 г. Генрик Стоклоса, бывший сенатор и бизнесмен (в настоящее время находящийся в розыске), устроил охоту на зубра и застрелил здорового 14-летнего самца (...) Он заплатил за это только 76 злотых за выдачу разрешения и 5 злотых гербового сбора». («Жечпосполита», 8 марта)

• «К концу февраля охотники из Любушского воеводства убили около 70 бобров (...) На зеленогурском охотничьем участке (...) около 50 бобров. На гожевском (...) только 20». («Дзенник», 2 марта)

• «Согласно отчету Европейской комиссии, Польша в два раза превышает квоты на лов трески (...) Квоты превышает большинство стран Балтийского моря, но никто не ловит нелегально в таком количестве, как Польша». («Жечпосполита», 15 февр.)

• «На субботних торжествах в честь Международного дня кота (...) любители кошек хвалили (...) Леха Качинского за то, что в бытность президентом (мэром) Варшавы он не жалел денег для свободно живущих кошек и запретил закрывать зимой подвальные окна, чтобы кошки могли спастись от холода. «Это у нас президент Качинский взял черного кота Рудольфа», — с гордостью говорила директор приюта для бездомных животных Ванда Дейнарович». («Газета wyborча», 19 февр.)

• «Иногда слегка помешанные, часто чрезмерно заботливые, немного снобы; исполненные благих намерений и готовые к самопожертвованию. Так оценивают поляков ветеринары (...) Ради животного человек способен измениться — бросить пить, перестать бить детей и устраивать скандалы (...) Все ветеринары считают, что сильнее всего привязаны к животным старики, которые, не моргнув глазом, занимают деньги на операцию для своих не менее старых друзей (...) Своих животных любят также социальные аутсайдеры, люди одинокие и больные и, наконец, отверженные, пьянчужки и бомжи. Заросшие, грязные, они приходят в кабинет с ухоженными, выхоленными собаками. Они даже готовы немного поработать, чтобы раздобыть деньги на лечение своих питомцев (...) Худшими мерзавцами бывают хорошо одетые, якобы порядочные граждане (...) Однако большинство готово отдать жизнь за свою собаку». (Мира Суходольская, Ивона Доминик, «Ньюсунк-Польша», 4 марта)



Ежи Корчак

УКРОЩЕНИЕ СТРАХА

Худошавая, невысокая, с короткими, гладко зачесанными волосами и всегда скромно одетая, она идеально вписывалась в пейзаж оккупационной варшавской улицы. Лишь те, кто столкнулся с ней поближе, могли усмотреть в облике этой женщины какие-то особые приметы. Наверняка глаза. Большие, яркие, всегда внимательно всматривающиеся в собеседника. От ее верного решения зависело всё — возможность спрятать затравленное существо, хорошо подобранные бумаги, по-умному придуманный жизненный путь.

Спасала она не только еврейских детей, тайком переправляемых из гетто. Выручать детей — такова была главная задача, поставленная перед ней подпольем. Но раз за разом требовалось спасать и тех взрослых, которых оккупант пометил клеймом плохого происхождения. А она, невзирая на трудности, в помощи не отказывала никогда. Была прирожденной общественницей — не только по должности. Будучи сотрудницей отдела социального обеспечения в магистрате столицы, она познакомилась с сотнями запутанных биографий и человеческих драм.

Марковская улица

С «Йолантой», иными словами, с Иреной Сендлер — поскольку речь идет о ней, — я познакомился в середине 1943 г. в квартире на Марковской улице, что в варшавской Праге. Там в большом и уродливом каменном доме скрывался под фамилией Стефан Згжембский ее будущий муж и близкий сотрудник. Там же проходили регулярные совещания «Жего-ты»¹ и встречи людей, принадлежавших к этому кругу.

У «Адама» (под таким псевдонимом действовал Згжембский) была, как тогда говорили, исключительно «плохая внешность». Этот крепко сложенный брюнет с резко выраженными семитскими чертами лица не мог не только выходить на улицу, но даже становиться неподалеку от окна. А он прямо-таки не мог усидеть на месте, рвался в дело, весь кипел энергией. Пани Ирена тратила много здоровья и нервов, чтобы давать ему такие задания, где он мог быть полезен, не высовывая и носа за пределы четырех стен. Поэтому «Адам» помогал при распределении пособий, разбирал и сортировал документы, ломал голову, каким образом и где размещать всё возраставшее число подопечных «Йоланты».

Хозяйкой квартиры и ее добрым духом была Мария Кукульская, варшавская учительница, до войны состоявшая в ППС (Польской социалистической партии). Наряду с постоянной угрозой — ведь в ее доме бушевал настоящий смерч — на ней висела еще одна опасная обязанность. Будучи педагогом по призванию, она не хотела расставаться с любимой профессией и тайно вела обучение в подземельях старинного собора на Кавенчинской улице. Родом пани Мария была из Ломжи, из семьи с большими патриотическими традициями. Ее девичью фамилию Каливода носила одна из улиц родного города. А ее брат Леон, пэовец (как называли в Польше членов ПОВ²), погиб при разоружении немцев в 1918 году. У ворот дома, где в него угодила немецкая пуля, в память этого факта установлена мемориальная доска.



Ирена Сендлер

¹ Совет помощи евреям, кодовое название «Жегота», — подпольная общественная организация, созданная в конце 1942 года. Помогала скрывающимся евреям, поддерживала материально около четырех тысяч человек, снабжала беглецов фальшивыми документами (около 50 тысяч) — в общей сложности оказала помощь нескольким сотням тысяч человек. — *Здесь и далее прим. пер.*

² Польская военная организация (POW) — тайная организация, возникшая по инициативе Ю.Пилсудского в окт. 1914 года. Действовала в Царстве Польском, затем также в Галиции, на Украине и в России, в том числе в подполье — против австрийских и немецких оккупантов. В дек. 1918 г. была включена в состав Войска Польского (на Украине действовала до июня 1920).



Сама пани Мария принадлежала к кругу Владислава Спасовского, видного общественного деятеля и педагога¹. Окончила учительские курсы, которые тот вел, и в последующей жизни неизменно руководствовалась указаниями своего наставника. А посему сразу же после окончания учебы молодая женщина отправилась в глухую деревню, чтобы в трудных условиях мазовецкой бедности нести людям, как говорится, «свет науки».

Встреча в скверике

В сложном переплетении множества дел и смертельных угроз находилось место и романтическому сюжету. Благодаря сердечным делам я и попал на Марковскую улицу. Мы с дочерью пани Марии быстро поклялись друг другу в любви до гроба. Началось же все это в каком-то скверике в центре города, где, подавленный и беспомощный, я раздумывал, что же мне делать дальше. Дело было сразу после моего побега из интерната Главного попечительского совета, размещавшегося на улице Идзиковского в нижнем Мокотове [район Варшавы]. Сбежал я оттуда через крышу, причем буквально за мгновение до прихода гестапо. Нити конспиративных связей с моей группой, действовавшей в варшавском районе Охота, были оборваны, поскольку там тоже случился провал. А для меня угроза была двойной — не только из-за участия в подпольной работе, но и по причине плохого происхождения. Нет нужды напоминать, что приговор за это полагался однозначный. Но, спасая меня, один мудрый и отважный человек, которому я обязан жизнью, дал мне такой наказ: «Забудь, что у тебя есть хоть что-то общее с еврейским племенем. Действуй так, словно бы тебя это не касалось».

Я старался следовать этому совету. И по-прежнему ощущал на себе перст Божий. Доказательств тому у меня накопилось изрядно, часть из них действительно граничила с чудом. В ту варшавскую квартиру, где я задержался после бегства из Кракова, уже через несколько суток ночью ворвалось гестапо. Оказалось, что в двух соседних комнатах прячутся еврейские семьи. Страшно перепуганных людей с криками, избивая, выводили в коридор. В этот момент около моей кровати возник какой-то штатский, свободно говорящий по-польски. Велел предъявить документы, просмотрел их и присел рядом. После чего, отирая пот со лба, стал жаловаться на тяжелую работу, а всё из-за этих треклятых евреев. Некто в мундире подозвал его, и вся их команда исчезла на лестнице. Через минуту я услышал за окном тарыхтение трогающихся автомашин.

...А в том скверике я обратил внимание на двух девушек. Одна из них, симпатичная шатенка, приглянулась мне особенно сильно, хоть мне и было совсем не до ухаживаний. Однако я инстинктивно не сводил с нее глаз, пока она тоже не посмотрела в мою сторону. Дальше все происходило, как в скверном фильме, где сценарий не только банален, но и маловероятен. Его «гвоздевой» финальной сцене предстояло разыграться тридцать с лишним лет спустя, когда Анна Кукульская получила и сама, и для своей уже покойной матери сразу две медали «Праведник среди народов мира».

Ну а тогда, действуя вопреки всяческим непреложным правилам и руководствуясь исключительно верой в мои слова и собственной интуицией, Анна пригласила меня на Марковскую. Там ее немедленно и резко отругали за легкомыслие, а меня подвергли хитроумному тесту на правдивость. Экзамен прошел благополучно, и я быстро оказался включенным в нешаблонный ритм жизни этого дома. Однако мне было еще далеко до приобщения ко всем секретам, которые скрывали его стены.

В «Цундаппе»

Осенью 1943-го я приступил к работе на немецком заводе, занимавшемся ремонтом мотоциклов марки «Цундапп». Эта фирма, находившаяся в ведении Вермахта, размещалась неподалеку от площади Спасителя. Она предоставляла великолепную «крышу» — на ее аусвайсе красовалась огромная печать со свастикой, и рядом удостоверялось, что обладатель сего находится «im Dienst der Deutsche Wehrmacht», т. е. «на службе у германского Вермахта». Более предусмотрительные, к числу которых принадлежал и я, пришивали к рабочим комбинезонам фирменную табличку, что должно было обеспечивать дополнительную защиту в случае облавы. Мне вскоре представился случай убедиться, что это на самом деле действует. Выходя из мастерской после работы на пару с немного старшим по возрасту

¹ Владислав Спасовский (1877-1941) — философ и педагог, деятель левых педагогических кругов, многолетний учитель средних школ и руководитель учительских семинаров, в 1920-1930 гг. был директором Государственных учительских курсов в Варшаве.



коллегой,мышленным варшавянином по имени Весек, мы увидели на углу Кошиковой и Маршалковской цепочку эсэсовцев. Крытые полицейские «воронки» не оставляли места никаким иллюзиям — шла облава, и всех хватали. Весек, ясное дело, знал обо мне только половину правды: что мне тоже случается приложить руки к чему-то подпольному. О второй половине угрозы — той, которая была куда страшнее, — он не имел ни малейшего понятия.

Я хотел было податься назад — имелся шанс, что удастся свернуть на улицу Снядецких, — однако он крепко сжал мне руку. «Смело на них. Бумаги у нас крепкие». Времени, чтобы объяснить ему хоть какую-то толику правды, не было; с безразличным выражением лица, не сбавляя шаг, мы шли прямо на немцев. Кто-то из них рявкнул: «Хальт!» — потребовал документы, бросил на них взгляд и, толкнув нас в спину, подал тем самым знак, что мы можем двигаться дальше. Это удачное укрощение страха придало мне дополнительную уверенность в себе. Особенно с учетом того, что в «Цундаппе» царила атмосфера иллюзорной свободы. Подпольная работа шла здесь на полную катушку, бесспорным доказательством чего были повсеместно ходившие тут подпольные бюллетени, а также слушание радиопередач. Самая опасная болезнь конспиративных организаций — чрезмерное бахвальство — проявлялась здесь в полной мере.

Нашим непосредственным начальником был польский мастер Потаялло, будущий чемпион страны по мотоциклетным гонкам, но в целом за состояние работ в монтажном цехе отвечал немолодой, заметно прихрамывавший фельдфебель родом из Баварии. Будучи уверен, что на фронт его по причине возраста и увечья не отправят, он чихал на всё, крепко выпивал и никому не отравлял жизнь. Но и его тоже в конечном итоге погубила обманчивая вера, будто здесь никому ничего не грозит.

Однажды во время короткого обеденного перерыва в мастерские вошла группа гестаповцев в штатском и в мундирах. Они сразу же начали выкрикивать по списку фамилии. Тех, кого вызвали, тут же выводили и загоняли в поджидавшие на улице грузовики. Все произошло молниеносно. Исчез и наш добродушный хромец, а его место занял унтерштурмфюрер СС с лицом разъяренного ротвейлера. Похлопывая плеткой по высоким сапогам и готовый вот-вот подавиться собственными воплями, он сообщил, что в фирме уже давно наблюдается саботаж и враждебная деятельность против Рейха, что виновных сурово покарают, а нам надлежит немедленно взяться за работу, ибо иначе нас ждет такая же судьба, как и наших коллег. Повесело ужасом, зловещую тишину нарушал только перестук инструментов.

Сразу же после окончания рабочего дня я вскочил в трамвай, следовавший до Праги. Мне хотелось как можно быстрее очутиться на Марковской. Парадоксально, но в этой квартире, чреватой столькими невероятными угрозами, я чувствовал себя до странности безопасно. Атмосфера дружбы и сердечности делала свое дело. Однако в тот день верховодил закон серийности — я уже с порога понял, что случилась какая-то неприятность. Неизменно оживленный «Адам», который никогда не терял веру в то, что войну удастся пережить, сидел сейчас на стуле в углу комнаты, тупо уставившись перед собой. Он едва заметил мое присутствие. И только пробормотал: «Ирена... Да ты уже знаешь...» Ханя подала мне знак выйти с нею. «Она на Шуха, а может уже и в Павяке⁴. Наши всячески стараются вытащить ее оттуда».

В Отвоцк

Оба мы были близки к тому, чтобы совсем пасть духом. Ведь до сих пор всем здесь управляла рука пани Ирены, пусть и не всегда видимая. Мне было известно, что в числе многих и я тоже могу рассчитывать на ее помощь. А что будет теперь? «Адама» наверняка надо будет вывезти отсюда. Пожалуй, в Отвоцк или в Свицер⁵. Там есть какие-то еще не «сгоревшие» квартиры. Но с его внешностью...

Началась очередная глава моей военной судьбы. На завод «Цундапп» я решил не возвращаться. Соблазнял уход в партизаны. Мои ближайшие друзья уже вскоре отправлялись туда. Мне, однако, был написан на роду более прозаический жребий.

⁴ Аллея Шуха — улица в Варшаве. В 1939-1945 гг. на ней в здании бывшего министерства вероисповеданий располагалось управление гитлеровской полиции безопасности, а в подземельях — следственная тюрьма гестапо. Павяк — тюрьма, построенная в Варшаве в 1829-1835 гг. и получившая название от улицы Павьей, близ которой она находилась. В годы немецкой оккупации — одна из главных следственных тюрем германской полиции безопасности на территории Польши.

⁵ Отвоцк — городок неподалеку от Варшавы, на берегу р. Свицер. На его окраине располагалась дачная местность под названием Свицер.



Люди из круга пани Ирены, взявшие меня под свою опеку, попросту велели мне учиться. А местом, где мне предстояло получить образование, должны были стать подпольные гимназические курсы в Отвоцке. Там предоставлялось жилье, харчи и стирка. В мечтах, однако, мне по-прежнему виделась война с винтовкой в руке. Корпеть над школьными учебниками я совсем отвык, и мне казалось трудным делом смириться с этой мнимой нормализацией. Теперь, по прошествии лет, я иногда думаю, что то мое стремление бросить вызов судьбе было обычной ребяческой глупостью, но другой голос подсказывает, что по сути дела это был для меня способ продержаться, сохраниться. Я как огня боялся пассивности, бездеятельного ожидания того приговора, который был заранее вынесен сверху. Перед глазами у меня по-прежнему проходили толпы тех, кого гнали на смерть, а они не пытались оказать ни малейшего сопротивления.

Между тем время, которое для людей, подвергавшихся особенно сильной угрозе, тянулось так страшно, вдруг ускорило свой бег. Все указывало на то, что война близится к концу. На инструктажах нас все чаще заверяли о скором восстании.

Пани Ирена после огромных хлопот и усилий находилась уже на свободе — благодаря взятке, сунутой высокопоставленному гестаповцу. «Адам», пристроенный в Свидере, вновь обрел прежний оптимизм и, забывая об опасности, начал показываться в окрестностях. А себя называл венгром по происхождению, во что никто не верил. Никаких венгров в округе не было, зато скрывающихся евреев хватало. Счастье, однако, благоприятствовало «Адаму», потому что, хоть ему и не раз приходилось из-за шантажа исчезать из Свидера, он всегда выходил из тяжелого положения целым и невредимым.

Юлиан Гробельный

Поздней осенью 1944 г. в квартиру, снятую пани Кукульской на Акациевой улице в Отвоцке, вселилась таинственная супружеская чета. Я занимал там комнату, где почти всегда ночевало несколько нелегальных гостей. Нетрудно было сообразить, что семейство Грабовских — далеко не обычные жильцы. Впрочем, таковых в кругу пани Ирены и не было — сплошь одни подпольщики или евреи, а иногда и то и другое. Появившиеся новые обитатели на евреев не походили, но об их настоящей роли и ранге в конспиративной жизни мне предстояло узнать лишь гораздо позже.

Пани Халина, женщина лет под сорок, энергичная и доброжелательная, все свое внимание концентрировала на больном муже. А тот, очевиднейшим образом страдая какой-то серьезной болезнью, почти не вставал с кровати. Однако вокруг него кипело непрестанное движение. Без конца возникали какие-то люди, таинственно шептали нечто и исчезали, после чего он, поднявшись с кровати, отдавал жене какие-то распоряжения. Все это не могло ускользнуть от моего внимания.

Пани Халина, разумеется, знала, что они могут на меня рассчитывать. Но довольно долго супруги этой возможностью не пользовались. Однако настал день, когда пан Юлиан позвал меня в свою комнату. Он долго смотрел мне в глаза, критически оценивая меня. Его лицо было бледным, как мел, а короткая седая бородка и запавшие щеки делали из него почти старика, хотя ему едва перевалило за пятьдесят. Но лишь когда пан Юлиан начал говорить, я сориентировался, насколько тяжело он был болен. После нескольких фраз он замолкал и судорожно хватал воздух. Пан Юлиан велел мне как можно скорее ехать в Варшаву, сообщил адрес и вручил конверт, подчеркнув, что в нем документы для человека, которому грозит огромная опасность. Я запомнил, что добираться мне предстояло в Служев, бумаги были выписаны на имя Чеслава Брошкевича, а в человеке, находившемся тогда под угрозой, я спустя много лет узнал одного из влиятельных замминистров. С этого времени вылазки в Варшаву с документами для разных людей сделались моим постоянным занятием.

Прошло еще немного времени; с востока все громче слышались оружейные раскаты, когда я узнал, что мой сосед по квартире — это Юлиан Гробельный, руководитель Совета помощи евреям. Позже ему пришлось уйти с этого поста, потому что сильные легочные и почечные кровотечения постоянно повторялись — у него была уже последняя стадия туберкулеза. Пан Юлиан все чаще исчезал с Акациевой улицы, его в условиях строжайшей конспирации перевозили в больницу в варшавской Воле и в отвоцкий санаторий. Когда в декабре 1944 г. он перед самым Рождеством скончался, пани Халина держалась мужественно и, хоть сама была близка к полному отчаянию, до конца помогала преследуемым людям.

До подробностей жизни Гробельного я добрался много позже. Его личность приковывает мое внимание и по сей день. Еще перед I Мировой войной он был боевиком ППС, принимал участие в забастовках в Лодзи, участвовал в Силезском восстании. В 1920-е годы он стал одним из организаторов



службы социального обеспечения, активно работал в социалистическом движении. На конспиративное положение Гробельный перешел летом 1940 года, когда Польская социалистическая партия, выступая под кодовым названием WRN (первые буквы польских слов «Свобода-Равенство-Независимость»), начала деятельность в различных сферах подпольного государства.

* * *

Моя же судьба покатила довольно неожиданным путем. Подразделение, которое концентрировалось в районе Карчева, до Варшавского восстания не добралось, и большинство из нас при различных, зачастую драматических обстоятельствах попало в [идушее с востока] «Народное» Войско Польское. Я оказался во 2-м запасном пехотном полку, расквартированном в Майданеке, и там на нарах, едва прибранных после концлагеря, ждал, весь искусанный вшами, дальнейшего назначения. Потом была двухмесячная офицерская школа в Люблине, 2-я армия, фронт, окружение под Будишином [тогда Бауце-ном] и тяжелые бои на востоке Польши, тянувшиеся еще долго после того, как настал мир.

Не таким виделось моему воображению пришествие свободы, но в любом случае я мог говорить о счастье. Многие из моих товарищей по нарам внезапно и таинственно исчезали, главным образом ночью. Их ждала судьба, известная полякам уже веками, — угон в глубь России.

P.S. Этот текст, писавшийся три года назад, не утратил, на мой взгляд, актуальности. История Ирены Сендлер и ее поведение в период войны известны сегодня во всем мире. Они служат образцом героизма, который эта женщина проявила в эпоху наибольшего пренебрежения человеком.

Пани Ирене исполнилось недавно 97 лет. Она сохраняет ясность ума и постоянно интересуется всем миром — тем миром, которому она вернула свыше двух с половиной тысяч человеческих жизней.

TYGODNIK PÓLSZCZAN
KATOLICKIE PISMO SPÓŁCZYNOWO-KULTURALNE

Ежи Корчак (род. в 1927 г. в Кракове) — прозаик, автор рассказов, повестей и исторических репортажей, посвященных различным эпизодам II Мировой войны (в их числе боевой путь 2-й армии Войска Польского, армия «Познань» в сентябрьской кампании 1939 г., великопольское подполье, миссия Яна Карского — курьера, державшего связь структур подпольного государства и Армии Крайовой с польским правительством в лондонском изгнании: в частности, он первым привез на Запад документы о массовом истреблении евреев). В числе его последних публикаций — «Конспираторы и предательство» (2000), «Карский» (2001), «Память простит тебе все» (2001).

Ирена Сендлер родилась в 1910 г. в Отвоцке; ее отец, Станислав Кишжановский, был врачом-общественником и деятелем ППС. До войны училась на факультете полонистики и работала в ППС. В период гитлеровской оккупации была сотрудницей службы социального обеспечения и, переодевшись медсестрой, носила в гетто еду, лекарства и деньги. После решения немцев о ликвидации гетто вместе со своими сотрудниками начала операцию по выводу оттуда детей и размещению их в польских семьях, сиротских приютах и монастырях — таким образом она спасла 2500 детей, а документация об их персональных данных, зашифрованная и спрятанная в стеклянные банки, уцелела, пережив войну. С осени 1943 г. руководила детским отделом Совета помощи евреям «Жегота». 20 окт. 1943 г. ее арестовало гестапо и подвергло пыткам в Павяке. Расстрела она избежала благодаря выкупу, уплаченному «Жеготой». После 1945 г. работала в отделе социального обеспечения Варшавы. Принимала участие в создании детских домов и домов престарелых, а также пунктов детской дневной спасательной службы. Опекала и так называемых «развалишек» — девочек, которые занимались проституцией на развалинах Варшавы. В 1949 г. беременную Ирену допрашивали в органах, ее сын родился преждевременно и через несколько недель умер. В 1963 г. умер второй ее ребенок, 12-летний Адаш. Ирена Сендлер получила, в частности, почетное звание «Праведника среди народов» и была награждена командорским крестом со звездой ордена Возрождения Польши. Общество детей Катастрофы намерено представить ее кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Несколько лет назад ученицы школы в Юнионтауне (США, штат Канзас) поставили собственную театральную пьесу под названием «Жизнь в стеклянной банке», которая повествует об Ирене Сендлер. В октябре пани Ирене предстоит получить премию им. Яна Карского «За мужество и сердце», которой ее недавно удостоили.



Дорота Ярецкая

НОВОЕ ИСКУССТВО И ШОА

Выставку Мирослава Балки и Альфредо Пирри «Beyond» в краковском «Бункере искусства» можно расценивать скорее как дань уважения, чем как настоящее погружение в проблемы совести, памяти и происхождения зла.

Выставка носит загадочное название «Beyond» («По ту сторону»). Оба художника, пишет итальянский куратор выставки Анна Мария Нассизи в тексте каталога, были приглашены, чтобы говорить о «темной стороне новейшей истории». Их выставка «языком искусства наглядно демонстрирует значение сегодняшних размышлений об Аушвице не как о событии прошлого, но как о живой памяти, будоражащей нашу сегодняшнюю совесть, чтобы сделаться фундаментом новой этики».

Уже сами эти слова вызывают подозрение, что совесть на этой выставке будет, скорее всего, спать спокойно. Нельзя прописывать угрызения совести как лекарство от цивилизационной травмы.

На втором этаже «Бункера искусства» выставлены работы итальянского художника Альфредо Пирри. Это целый ряд элегантных скульптур, напоминающих полки в магазине. На стене выставлены картины, изображающие крышки уличных люков с надписью «газ». Возможно, у Пирри возникали ассоциации с Аушвицем, но это кажется несколько инфантильным. Разве система подземных коридоров должна ассоциироваться с виной технического прогресса за то, что во время войны он служил усовершенствованию методов истребления? Уровень подобных констатаций интеллектуально малоинтересен.

Созданный куратором выставки контекст может придать слабому искусству то значение, которым оно не обладает. Этот показ — не первый и, вероятно, не последний сигнал о том, что кураторские выставки с заявленной тематикой переживают кризис. Можно совершать манипуляции в широком масштабе, включать работы, ничего не говорящие на данную тему, предлагать сколько угодно собственных политкорректных интерпретаций. Можно и хорошее искусство направить в русло, по которому оно вовсе не собиралось плыть. Это, на мой взгляд, и случилось с Мирославом Балкой.

На выставке Балки царит необычная атмосфера. Две зажженные горелки газовой плиты проецируются на экран из соли. В большом канделябре роятся сонмы личинок синих мух.

Есть также огромный квадрат фанеры (4 на 2,5 метра), укрепленный на стальном валике. Когда на него наступаешь, он качается, с неприятным звуком накреняется, и ты летишь вниз, думая, что, наверно, в ад. Отличная работа. Но разве эти качели — это и есть лагерная рампа? Быть может. Но вовсе не обязательно. Так, собственно, можно рассматривать каждую из его работ.

Кроме двух. Одна — это короткий фильм, где мы видим единственную букву из известной надписи над воротами концлагеря. Это «В» из слова «Arbeit». Наблюдение, может быть, и не новое, но удачное: это «В» какое-то странное, как будто перевернутое, верхнее полукружие буквы явно крупнее нижнего.

Говорят, существует гипотеза, что заключенные, выполнявшие эту надпись, специально так перевернули эту букву, чтобы она ассоциировалась с опрокинутой системой ценностей, миром вверх тормашками. Этот фильм сделан минимальными средствами, ничего художественного в нем нет. Просто документ, и всё. Он снимался зимой, в кадре падает снег, слышны голоса проходящих туристов. На его фоне возвышенные комментарии куратора звучат фальшиво.

Любопытно, что единственная скульптура, о которой я знаю, почему она тут оказалась, это даже не скульптура в обычном смысле слова, а просто предмет. Мирослав Балка поставил под ним дату 1942/2006. Погнутый металлический столбик с остатками колючей проволоки.

Столбик освещен так, чтобы тень от него падала в виде огненного меча. Взял он из ограждения гетто в Отвоцке. А странная тень, которую он отбрасывает на пол, идет от многочисленных бороздок, вырезанных в нем для крепления колючей проволоки. Меня удивляет малая высота столбика — меньше метра. Будь он огромным — пожалуй, не производил бы необходимого впечатления. Такая

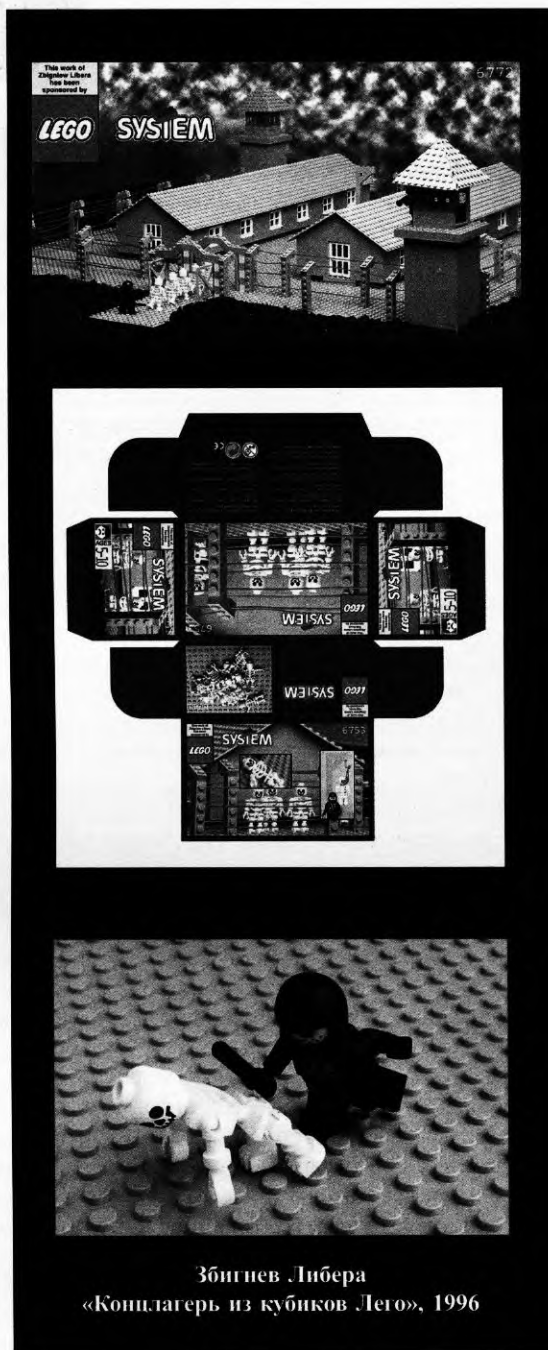


вот условная граница, разделяющая два мира. Говорят, такие столбики еще можно найти в Отвоцке, некоторые из них заново используются. Гетто как предмет утилизации. Меня интересует вторая жизнь этого столбика, то, как мы постоянно перепариваем Катастрофу. И это лучшая работа на выставке, если мерить силой воздействия одной конкретной темы — темы воспоминания о Катастрофе, а главное, тем, как о ней говорить. Не надо говорить, отвечает этой работой Балка, — пусть говорят предметы.

Когда я ходила по этой выставке, у меня возникало ощущение «дежа вю». Десять с лишним лет назад в галерее «Захента» проходила коллективная выставка «Где брат твой Авель?», посвященная 50-й годовщине окончания II Мировой войны. В ней участвовали выдающиеся художники из разных стран. И было видно, какие усилия они прилагали, чтобы говорить о тех страшных событиях средствами, имевшимися в их распоряжении: с помощью абстрактной или концептуальной поэтики. А еще было видно, что как раз эти художественные средства чаще всего не позволяют им высказать свое мнение. Они беспомощны перед такой темой. Они создают прекрасные работы, работают на уровне эстетическом, но не нравственном.

Интересно, что на вопрос, поставленный в самом названии той выставки, вскоре ответило польское искусство. Видно, тема была актуальной. Правда, ответ был иным. Более тривиальным, использующим язык массовой культуры. Как у Збигнева Либера, который, создавая в 1996 г. свой «Концлагерь из кубиков Лего», не столько обвинял мир в творящемся зле, сколько говорил, что все мы за это зло в ответе, ибо оно есть даже в самой на вид невинной игрушке. А при этом, как можно заметить, он как раз показал не произведение искусства, но предмет. Это что-то значит.

В контексте искусства последнего десятилетия краковская выставка — это отступление во времени гармоничного и гладкого дискурса о Катастрофе, который кому-то, возможно, позволяет успокоить совесть, но не вызывает никаких дополнительных сомнений и вопросов. Покидая эту торжественную выставку, никто не выйдет особо взволнованным. На совершенно уже истертый вопрос, возможна ли поэзия после Аушвица, мы отвечаем: да, и прекрасная, пронзающая глубокой печалью. Печаль же, проступающая на наших лицах, только утверждает нас в уверенности, что мы все делаем хорошо. Действительно ли хорошо?



Збигнев Либера
«Концлагерь из кубиков Лего», 1996



Витольд Гомбрович

Перевод Андрея Ермонского

ТВОРЧЕСТВО БРУНО ШУЛЬЦА

Рецензируя книгу Бруно Шульца «Санаторий под клепсидрой», очень непросто уберечься и от громоздких, тяжеловесных упрощений в угоду здравому смыслу, и от мутного словоблудия критиков-авангардистов. Возьмем для примера новеллу, которая дала название всему сборнику, и попробуем пересказать ее «своими словами». Герой навещает отца, который в каком-то заспанном городишке ведет «разболтанную» жизнь, следуя неким, толком не разъясненным правилам «оттянутого назад времени»; подремав вместе с отцом, герой отправляется побродить на рыночную площадь, заходит в лавку, тут ему неожиданно-негаданно вручают посылку: маленький складной телескоп. Наш герой собирает телескоп, который тотчас же преобразается в автомобиль и увозит его на рыночную площадь. А затем в городишке начинается война и вспыхивает революция. Герой возвращается в пансион, но тут на него набрасывается собака, однако оказывается, что это не собака, что это человек, вернее, человек, преломляющийся в собаку, а собака — в человека. Герой удирает. Вот так, с пятого на десятое, можно было бы изложить содержание новеллы. Ну и что же это за куча вздору! Какое своеволие логики и ассоциаций! Какая разнузданность содержания! Если бы не изумительная художественная выделка, если бы не глубина и серьезность вызванных этими перипетиями переживаний, каждого в отдельности, если бы не точность, интеллигентность, невероятная выразительность и мощь стиля, если бы не однотонность душевного настроения, можно было бы, и не без оснований, предположить, что это либо мистификация, либо плод совершенно свихнувшегося рассудка. Но кому захотелось бы вкладывать столько душевных сил в бессмыслицу? И разве сведение всего этого набора своеволий в единое художественное целое не говорит как раз об исключительной дисциплине ума?

Тогда какие же естественные, житейские и человеческие причины могут побудить к подобного рода способу писания?

Вот представьте себе, садитесь вы за письменный стол, собираетесь описать какое-то событие самым обычным и реалистическим образом, а тут, бывает, вас и настигает мысль, что всё это — откровенная выдумка, что вы попросту решили ввести читателя в заблуждение. Во-первых, само описывание пригрезившихся вам событий таким образом, будто они происходили на самом деле, придание им видимости настоящей жизни, хотя каждому известно, что они родились в вашей голове, — это убогая нелепица и обман. Во-вторых, разве смысл вашей работы сводится к тому, чтобы ублажать читателя сюжетом вашего повествования, походжениями ваших героев, — да нет же, походжения эти всего лишь предлог, нужный вам, чтобы поделиться собственными вашими переживаниями и опытом, например, сообщить, что жизнь прекрасна или что вы несчастливы. Продвигаясь по этой дороге дальше, вы добываетесь до мысли более общего, философского порядка, понимаете, что не только придуманные, но и подлинные события, в сущности говоря, тоже не более, чем повод и предлог, что даже реальные, живые люди — всего лишь случайная форма, маска, под которой затаилась темная и безымянная стихия. И разве формы сегодняшнего мира не временны и не преходящи, разве через миллион лет не изменится до неузнаваемости наш физический и духовный облик, а с ним вместе и привычное для нас восприятие мира, разве род людской, ведущий свое начало от рыбы, не обретет спустя тысячи столетий иной образ? И разве нынешняя наша система культурных форм и норм всего лишь не эпизод в процессе эволюции, не нечто до крайности нестойкое и зыбкое в вечном духе? И разве не подтверждается это тем, что одно и то же содержание беспрестанно обретает новые формы, что стихия заявляет о себе всё в новых и случайных образах, что, к примеру, человек, который боится, — существо-однодневка, но вот сам страх в нем — нечто вечное и неизменное; яблоко, падающее с дерева, — случайность, но вот механика мира — нечто вечное. И сама суть мистификации, жертвой которой мы оказываемся, состоит в том, что в повседневной жизни мы вынуждены принимать эти случайные формы за нечто данное нам раз и навсегда.

Подобного рода ощущения захватили Шульца, и его тексты нацелены на то, чтобы передать вам ужас и необычность зрелища. В его произведениях вовсе нет ни связной фабулы, ни реальной психологии героев. Если на его героя вдруг и ни с того ни с сего кидается собака, собака тут ни при чем, при чем тут лишь само переживание страха; если затем собака становится человеком, то происходит это просто ради того, чтобы необычайно тактично и пугающе точно передать вам саму идею собаки, саму ее «внутреннюю сущность», которая остается все той же и под маской изменившегося образа. Шульц берет, не выбирая, совершенно произвольно, какие-то



части и строит из них особый мир, мы же, попадая в этот искусственный и придуманный мир, получаем возможность наблюдать за теми же самыми силами и теми же самыми законами, какие господствуют в мире реальном, однако тут они проявляют себя куда более явно и мощно, поскольку случайность и придуманность их формы (скажем, герои и события, в которых герои принимают участие) оказываются разоблаченными.

Неисчислимы выгоды способно принести такое, едва ли не божественное, сотворение новых миров. Я даже и не говорю, что это создает поистине неограниченные художественные возможности для использования совершенно новых, поражающих воображение приемов, — но как же при такой свободе приумножаются силы творца. Всякий интеллигентный читатель легко сообразит, насколько полнее метод этот позволяет художнику выразить себя в неожиданных комбинациях новых форм, а вместе с тем — какие же беспредельно широкие просторы открывает он для вдохновения, для интуиции, для воображения, для больших и малых предчувствий, изобретений, придумок, обогащающих сознание и оплодотворяющих ощущения. Отчего же, спросите вы, отчего же в таком случае художник, пребывающий в столь счастливом положении, в своих сочинениях не способен скрыть неуверенности, страхов, стыда, ужаса и унижения?

Может, причина тому какая-то его собственная патология, может, упадничество? Да нет, вряд ли — ведь чуть ли не всякого художника, одного в большей, другого в меньшей степени, донимают какие-то биологические изъязы, а вот ведь в их произведениях, как правило, любовь к жизни бьет ключом. В искусстве царит железный закон возмещения, закон равновесия: каждый минус должен быть тотчас же компенсирован и нейтрализован подобным же рода плюсом, и, скажем, излишек воображения обязаны держать в узде реальные факты, а болезнь или ненормальность чувств — куда более сильное ощущение здоровья, нормы. Иначе все распадается. Так вот, если речь идет о художественной стороне дела, то в творчестве Шульца закон возмещения реализуется с совершеннейшей строгостью, и мы вправе безбоязненно высказать по поводу новелл этого писателя несколько парадоксов: чем они фантастичнее, тем они реальнее, чем больше в них вымысла, тем они правдивее, чем неопределеннее рассказанное в них, тем определеннее их стиль и т. д. А стало быть, биологическое поражение Шульца проявляется не в том, что его творения несовершенно, оно выражается в чем-то ином, в самом отношении писателя к своему произведению, и мы сейчас постараемся растолковать это по возможности проще на конкретном жизненном примере.

Представим себе, что человек, убежденный в малозначительности, переменчивости и зыбкости форм этого мира, начинает где-нибудь в укромном уголке сооружать какую-то иную форму, превращается в чудака и, положим, обряжается в новое и ни на что не похожее платье. Если человек этот общителен, если он постоянно на людях и не отгораживается от действительности, тогда, естественно, его новый и странный способ поведения вызовет противодействие других людей, завяжется драчка, и в результате человек этот не только не отдалится от жизни, но как раз напротив — именно его непохожесть еще теснее и болезненнее свяжет его с жизнью. Больше того, подобное непрерывное и мучительное противостояние позволит ему сохранить до известных пределов самостоятельность и независимость по отношению к собственной непохожести, в других людях, в других формах найдет он опору для сопротивления своей собственной форме. Но если непохожести и извращениям поклоняется нелюди, ему, в сущности, негде искать опоры для сопротивления — непохожесть его мира строится на принципах его собственной механики, и именно та форма, которую он соорудил для себя в своем укромном уголке, более всего сковывает и угнетает его самого.

В границах собственного стиля, какого же совершенного и великолепного, Шульц в состоянии сопрягать друг с другом любые противоречия, но он ничего не сумеет противопоставить стилю, и это так, как если бы он мог выразить все, но только одним тоном, одной манерой письма. Да в искусстве иначе никогда и не было — но никогда еще стиль не уклонялся так далеко от естественности, никогда не был он столь — и добавим: осознанно — искусственным, лживым, откровенно извращенным. И современный писатель, по рукам и ногам скованный таким искореженным стилем, должен тяготиться стилем стократ сильнее, чем писатели прежних поколений, а потому проблема преодоления формы и стиля, обретения независимости по отношению к собственному сочинению, обретения — просто-напросто — свободы выражения становится сегодня самой сложной и самой важной проблемой прозы и поэзии.

*«Апель» («Призыв») — художественно-литературное приложение №31
к «Курьеру Познанскому», 1938, №112*



Ежи Помяновский

ТАМОЖЕННИК ИЗ ДРОГОБЫЧА

Италию многие считают страной, по сути дела лишенной столицы, потому что Рим выполняет скорее функцию административного центра. Зато страна изобилует множеством провинциальных центров, которым традиционная, постоянно оживленная культурная деятельность придает столичное значение. Однако в других странах термин «провинция» — синоним серости, застоя и скуки, особенно там, где столица поглощает большинство талантов и налогов. Совсем не нужно быть запоздалым последователем Ипполита Тэна, чтобы предположить, что жизнь творческой личности становится особенно тяжела в среде, где не хватает таких институтов и стимулов, как театры и концерты, университеты и конгрессы, издательства, редакции, музеи, постановки пьес и — почему бы нет — литературные кофейни. Не думаю, что сегодня телевидение вместе с Интернетом много в этом отношении изменили; стекло экрана отделяет от действительности и делает из нас ее пассивных наблюдателей.

«Среда, в которой находился Шульц, — пишет Фицовский, — было далеко от вопросов искусства. Ни семья, ни круг гимназических учителей не могли заменить настоящих собеседников, с которыми он мог бы делиться размышлениями, вести дискуссии на темы, которые его больше всего интересовали».

Думаю, что в Европе первой четверти XX века не было провинции более провинциальной, чем Галиция. Конечно, в обе ее столицы, Краков и Львов, стекались артисты, политики и конспираторы со всей остальной — еще разделенной — Польши, потому что под московским кнутом и прусским сапогом дышать было тяжелей, чем под сонным взглядом Франца Иосифа. Но эти города притянули и почти всех талантливых и предприимчивых людей из бесчисленных городков и поселений этого края. Остальные отправились за границу зарабатывать хлеб, а то и почести. Мировую славу и различные кафедры получили математики Львовской школы, от Казимира Твардовского до Стефана Банаха и Гуго Штейнгауза. Из Галиции тронулся в путь Мартин Бубер, чтобы блеснуть во Франкфурте, а затем стать профессором Иерусалимского университета и первым президентом Академии наук Израиля. В Замости вырос самый известный поэт еврейской диаспоры Ицхок Лейбуш Перец. В той же Замости лучший польский поэт того века Болеслав Лесьмян был, или, скорее, иногда бывал, нотариусом. В Велёполе под Краковом воспитывался Тадеуш Кантор, чтобы потом объехать полмира и изменить мировой театр.

Только Бруно Шульц не рвался из родного маленького Дрогобыча.

* * *

Он нашел другой, более трудный способ: он считал скучную, ущербную реальность провинции первым элементом метафоры, призванной сжато и молниеносно открыть нам все богатство зримого мира. Для этого он использовал все ресурсы лексики и тропов, дожидавшиеся в польском языке его пера, и все силы своего необычайного воображения.

Трудно в Венеции писать о чем-нибудь кроме Венеции, рисовать что-нибудь кроме ее колонн, мостов, неба, лотков и женщин. Серость провинции по природе вещей оставляет больше поля воображению, чем пленительное изобилие прелестей в культурных столицах. Необходимость компенсации становится очевидной; провинция — родина мечтателей. Но у воображения Шульца была та особенная черта, что оно не склоняло его — как многих других — к простому фантазированию, к бегству в никуда. Город из «Коричных лавок», загробный «Санаторий под клепсидрой» возносятся над его Дрогобычем как воздушный змей или лучше как аэростат на привязи, застывший в семейных секретах и воспоминаниях детства.

Борис Пастернак утверждал, что труд поэта — не что иное, как кропотливое воспроизведение реминисценций детства. Разумеется, он имел в виду припоминание не событий, а только впечатлений, тех первых удивительных столкновений с предметами и происшествиями, из которых каждое — сюрприз. Мы тут очень близки к принципу, который Брехт сформулировал как «V-эффскт», то есть эффект



неожиданности (а не какого-то там *отчуждения*, как это механически переводят); его сущность — показать адресату неожиданную, незамечаемую сторону уже обыденного явления. Результатом бывает открытие. Лучший знаток произведений и жизни Шульца поэт Ежи Фицовский говорит, что «Шульц — это строитель действительности, становящейся чудесным обострением вкуса мира».

Описания Шульца сконструированы так, чтобы обновить в нас, освежить то ощущение небывалой необычности каждой, даже ничтожной подробности, взятой из памяти и повседневности. Это, ясное дело, вовсе не портреты с натуры. Описания пейзажей, людей и предметов у Шульца подсказывают, что под их поверхностью скрыта секретная сущность вещей. Это удачные попытки навязать нам представление о кантовском *Ding am sich*.

Книги Шульца — доказательство в пользу рискованного утверждения Уильяма Блейка, что воображение — единственный источник правды.

* * *

Предисловие к первому почти полному польскому изданию прозы Шульца (Краков, 1964) Артур Сандауэр озаглавил «Деградированная действительность». Это вводит в заблуждение. Бруно Шульц делал все, чтобы действительность возвести на пьедестал и украсить. Гипербола была его главным приемом. Его двойник с рисунков припадает к земле, на колени, к стопам объекта идолопоклоннического преклонения только для того, чтобы тем выше его вознести. И это относится не только к женщинам. Описания гущи кустарников, сорняков, трав из дикого сада Господня в «Лавках» тотчас приводят на мысль таможенника Руссо, который ложился в борозду между грядками, чтобы рисовать листья и побеги обычной моркови так, словно это крона пальмы.

Этот же критик утверждает, что стилистика Шульца следует канонам стиля модерн. Он помещает его в общество Лесьмяна и Станислава Игнация Виткевича. Правда, он весьма резонно замечает, что «поднимая те, ушедшие в прошлое вопросы, к ним уже не относятся серьезно». В этом есть что-то верное, по крайней мере если говорить о Виткевиче. Что касается Шульца, то мы не найдем родственных ему писателей в эпоху, когда он учился и созревал, а это была действительно переломная эпоха. Владислав Копалинский утверждает — и, пожалуй, он прав, — что ее стиль «был первым оригинальным европейским стилем со времен готики». Да, он повлиял на зрение Шульца-живописца. Но в прозе Шульца нет того свойства, которое испортило манерностью произведения писателей тех лет, — той фаталистической позы, гримасы салонной меланхолии, всего, что сочетается с понятием «конца века». О чем идет речь, знают читатели д'Аннунцио.

Если уж на то пошло, то произведения Шульца ассоциируются у читателя с миром барокко. Барокко стало польским национальным стилем. Вместе с Контрреформацией оно воцарилось в области одежды, нравов, произношения, своими алтарными фасадами обстроило порталы старых готических и романских храмов. Этот стиль забрел на самые окраины земель конфедерации Польши и Литвы; гетман Украины Мазепа пожаловал барочные колокольни почти всем храмам Киева. Учиться у Марини и Гонгоры заставило польских поэтов не что иное, как барокко. Однако это не было прививкой инородного тела. Доказательство тому — необыкновенный успех Сенкевича и его романов, обратившихся к этой эпохе и ее стилистике два века спустя.

А Шульц сознательно пользуется этой традицией как отправной точкой. Думаю, ему доставляло особое удовольствие, что вот он, писатель, родившийся в еврейской семье, с искусной легкостью соединяет собственным мастерством новаторский способ повествования с самой исконной традицией польской прозы. Другое дело, что он не знал языка идиш и с детства был погружен в чтение польских книг. Что бы ни говорили и что бы ни сказали в будущем расисты, Шульц был гражданином «отчизны — польской речи», более того — был ее украшением.

Его любимым поэтом был, впрочем, Рильке, а немецкий, как это водилось в Галиции, он знал превосходно. Это не уберегло его от немецкой пули. Он погиб во время охоты на евреев в тот самый трагический месяц, 19 ноября 1942 г., от руки Карла Гюнтера, шарфюрера СС.

Он прожил 50 лет, писал и печатался только девять — столько же, сколько Выспянский.



* * *

Признаюсь, что чрезмерная орнаментальность прозы Шульца долго вызывала у меня беспокойство. Я поддавался очарованию против воли, читал эти страницы, поддаваясь дурману. Думаю, что многие читатели точно так же позволяли втянуть себя в это чтение — как в чужой сон или дурную привычку. Преданный лаконичной, ясной фразе Исаака Бабеля, уверенный, что так и надо писать, я с недоверием возвращался к многочисленным, растянутым конструкциям Шульца. Бабель сказал, что два прилагательных при одном существительном может позволить себе только гений. А Шулец позволяет себе три и больше. И добивается своего.

Через некоторое время читатель, даже упрямый, чувствует, что эти прилагательные, эпитеты, вводные слова и предложения — не орнамент, а заботливо подобранные кирпичики постройки, всего лишь часть которой — как будто говорит Шулец — составляет населенный нами и доступный нашим пяти чувствам мир.

* * *

Понятие *виртуальной реальности* (или фантазмагории, как предпочитает Станислав Лем) только недавно стало модным у критиков и рецензентов. Мир, возводившийся Шульцем столько лет тому назад, можно довольно точно обозначить этим термином. Но Шулец, напомним, не ограничивается рассказами каких-то небылиц. Конечно, он обращается к мифам и архетипам, общим для всех людей. Прежде всего, однако, он идет от описания обычных событий и предметов, в основном известных читателю, — и открывает их необычные, предположительные значения, показывая гиперболические, абсурдные последствия, скрытые в их свойствах.

Почему этот учитель рисования из польской провинции, пользуясь изощренным языком и особыми инструментами, сразу же снискал признание таких необычных умов, как С.И.Виткевич, а со временем — таких многочисленных поклонников в странах, где путают Словакию со Словенией и польскую Силезию с турецкой Киликией?

Можно считать, что по очень простой и редкой в новой литературе причине.

Шулец — восхвалитель мира. Более того, он — идолопоклонник мира. Его пресловутый мазохизм служит, в конце концов, последним доказательством приятия даже мучительных проявлений жизни. В отличие от Кафки, с которым его столько раз сравнивали, он не проявляет страха перед неизбежной мукой. Творчество великого пражанина — новая книга Иова, не видящего смысла в незаслуженном наказании и непрощенной жизни. Шулец дает понять, что наших скудных чувств не хватает, чтобы открыть этот смысл, но что он, может быть, скрыт под слоем обыденных вещей. Поэтому Шулец добавляет к их описанию предположительные цвета и черты, как намек на то, чего мы не чувствуем. Не для того он ввел понятие *банкротства реальности*, чтобы насмехаться над миром, который мы видим, а потому, что считал этот мир только плоской проекцией чего-то, что верующий человек назвал бы Божьим планом.

Пусть экзегеты скажут, нужна ли была Шульцу такая вера для обоснования его ослепительных картин. И пусть они больше не упрекают его в том, что он не защищал в своих книгах никакую политическую веру. Хватит и того, что наш учитель из Дрогобыча в своем творчестве заботится об основной социальной функции искусства: он навязывает хаосу случайных и бессмысленных явлений порядок идеальных предложений, дающих читателю ощущение, что у нас, по крайней мере, есть возможность искать в мире красоту и смысл.

IL FOGLIO
quadrifoglio



Ежи Фицовский

Перевод Натальи Горбаневской

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ

или Последний путь Бруно Шульца

Он где-то сидит в тюрьме, вроде бы приговоренный пожизненно, — убийца Бруно Шульца Карл Гюнтер, добраться до которого мы не пытались. Остались в живых очевидцы, близкие Шульцу люди, которые дали исчерпывающие свидетельства о последних часах и минутах жизни писателя. Значит, несмотря на некоторые пробелы и недоговоренности, мы можем сегодня подробно воспроизвести трагический эпилог биографии, законченный двумя пулями убийцы.

Необходимость такой реконструкции — основанной исключительно на показаниях достоверных свидетелей — тем больше, что с ходом времени появляются всё новые и новые версии и истолкования, далекие от точности, иногда прямо баламутные и бросающие ложный свет на обстоятельства убийства Бруно Шульца. Среди расходящихся с истиной сведений на эту тему только предположения Витольда Гомбровича, записанные в его «Дневнике», могут найти оправдание. Он вспоминал о друге на далекой чужбине, лишенный возможности проверить факты. Вдобавок это были просто догадки, основанные на знании судьбы евреев в оккупированной Польше. Гомбрович считал, что Шульц погиб в лагере уничтожения как один из многих узников нацизма.

Состояние смертельной опасности было для нервов Шульца разрушительным. Когда он жил уже в гетто — не отгороженном от остального города, — он старался купить себе жизнь, оказаться нужным. Поэтому он выполнял различные заказы гестаповца Феликса Ландау, венского столяра, который за продукты приобретал художественные работы Шульца, заказывал у него портреты, заказал стенную роспись в своей квартире и фрески в т.н. Reitschule. Кроме того Шульц занимался каталогизацией захваченных оккупантами книжных собраний, сложенных в здании бывшего еврейского старческого дома. В это время он писал далеким знакомым (в частности своей бывшей невесте) тревожные письма с просьбами о советах или помощи. В дни, когда Ландау временно отсутствовал в Дрогобыче, Шульц скрывался в подвале виллы своего знакомого Збигнева Мороня, боясь, что без «протектора» погибнет от первой шальной пули. Бегство в грёзы, в безопасность вымысла становились сомнительной защитой от смерти, которой Шульц боялся панически. Он боялся за себя и за свои рукописи. В таком состоянии осады творчество было парализовано, стало невозможным. Когда-то он писал:

«Тут Вы, пани, ошибаетесь, когда считаете, что для творчества необходимо страдание. Это старая истертая схема — иногда, может быть, верная, но в моем случае — нет. Я нуждаюсь в хорошей тишине, в чуточке тайной, питательной радости, в созерцательной жажде тишины, хорошего настроения. Страдать я не умею».

Настало время без тишины, а если даже иногда она случалась, то была опровержением той желанной: она была тишиной сдерживаемого дыхания, защитным молчанием в убежище, невысказанными словами, которые подавлял страх. Положение Шульца — несмотря ни на что — было лучше, чем у других жителей дрогобычского гетто. Ему не приходилось тяжело физически работать, с чем бы он, кстати, и не справился. Работа, которую ему поручали, носила тоже рабский характер, но позволяла



Место гибели Бруно Шульца



Бруно Шульц. Автопортрет. 1930

выживать без резкой потери сил и — готовиться к побегу. О побеге Шульц думал часто и всё конкретней; он не хотел предпринимать побег впопыхах, без соответствующих гарантий в виде поддельных документов и денег. Непереносима для него была уже мысль — не о том, чтобы покинуть Дрогобыч, такая неосуществимая до войны, — но о том, что придется бросить больную сестру, которую, спасаясь бегством, он вынужден был бы оставить. Он утратил дом, оказался в аду и знал, что в длительной перспективе только побег даст ему шансы выжить.

Тайком, никому кроме самых близких не верясь, он связался по этому вопросу с людьми из Львова и Варшавы. Кто-то из уцелевших знакомых вспоминает, что госпожа Ледерер, которая до войны печаталась в львовских «Сигналах», тоже посредничала в этих стараниях. Другие, более общего характера свидетельства говорят о помощи «аковских кругов», что, возможно, означает круги делегатуры [лондонского эмигрантского] правительства в Польше. Один из главных свидетелей последних часов — и почти что минут — жизни Шульца, Эмиль Гурский, именно так определяет источники помощи, которая писателю была оказана: АК, люди из Армии Крайовой. Другой близкий Шульцу человек, Идидор Фридман, в своих письменных показаниях 1948 г. указывает, что «варшавские друзья» прислали поддельную кенн-

карту [оккупационное удостоверение личности], чтобы Шульц мог ее предъявлять, и, уточняя, о каких друзьях идет речь, называет Штурм де Штрёма. Это сообщение он снабжает вопросительным знаком, не вполне уверенный, хорошо ли запомнил. Следует полагать, что он не ошибся. Тадеуш Штурм де Штрём, человек твердого характера, деятельный и скромный, прирожденный общественник, лично знал Шульца, до войны не раз оказывал помощь ему и его невесте, а во время оккупации действительно снабжал скрывающихся «липовыми» документами. Идидор Фридман, вероятно, получил эти сведения от Шульца во время ежедневной работы обоих над каталогизацией книг, когда они могли относительно свободно поговорить с глазу на глаз. Фридман (после войны — Тадеуш Любовецкий) прибавляет, что сам вручил Шульцу деньги на планировавшийся побег.

Среди обстоятельств, по которым срок тайного выезда из Дрогобыча откладывался, одним из важнейших для Шульца было найти хранилище для рукописей, рисунков и сохраненной им части своего личного архива из дома на Флорианской — прежде всего тысяч писем от разных лиц и копий его писем. В то время, когда Фридмана направили работать над книгами, Шульц уже успел спрятать свои сокровища или отдать кому-то на сохранение.

Тайна хранилища, где архив был спрятан, либо хранителя, которому он был отдан, до сих пор не выяснена, а тем самым «сокровищница» Шульца, где были такие бесценные вещи, как никогда не печатавшиеся его произведения, пока не найдена. В воспоминаниях Фридмана говорится: «Долгие часы мы проводили в разговорах. Тогда Шульц сообщил мне, что все свои бумаги, записки, переписку отдал на сохранение какому-то католику за стенами гетто. К сожалению, то ли он не сказал мне фамилию, то ли я ее забыл». Збигнев Моронь тоже — в ответ на мой вопрос в письме — ответил, что слышал о том, что архив отдан на сохранение, но фамилии не запомнил. Можно предположить, что если версия о передаче архива на сохранение верна, то хранитель не входил в круг, хорошо известный близким Шульца, раз его фамилия не осталась в памяти свидетелей.

Но возможно, что эти сведения ошибочны, причем это входило в замысел самого Шульца. Место хранения тех или иных сокровищ в то время не открывали даже самым близким. Если он так говорил, то, вероятно, руководился желанием запутать следы, отвлечь внимание от места, где на самом деле спрятал бумаги. Несмотря на многолетние расспросы мне не удалось, даже косвенно, напасть хоть на какие-то сведения о существовании человека, который взял на себя заботу о рукописях, хоть на



какой-то след от него — пусть лишь в чьей-то памяти. Похоже, что Шульц мог спрятать рукописи в здании старческого дома, где занимался каталогизацией, и при этом не прибегнул ни к чьей помощи.

Он работал там, практически никем не контролируемый, целыми днями, часто в полном одиночестве, и мог найти подходящее убежище. Из многих тысяч томов одни, в соответствии с инструкциями оккупантов, должны были вывозиться в Германию. Другие оставались. Он мог поместить рукописи между листами оставшихся книг или вклеить в обложки, что для учителя ручного труда было делом простым. Эта гипотеза, может быть на вид фантастичная, не кажется мне невероятной. Он мог размещать рукописи в корешках толстых фолиантов в надежде извлечь их оттуда после войны. Изидор Фридман на протяжении нескольких месяцев 1944-1945 гг. усиленно разыскивал в Дрогобыче спрятанные бумаги, дал объявление в дрогобычскую газету, прося хранителя объявиться, но это не принесло никаких результатов, никто не откликнулся — даже с негативными сведениями о хранителе или об уничтожении хранившихся рукописей.

Только так или иначе обеспечив сохранение рукописей, Шульц мог начать собственно приготовления к побегу, который представлялся ему предприятием крайне рискованным, но совершенно необходимым. Первым человеком, которого Шульц приглядел себе в хранители — не только рукописей, но и художественных работ, — был Збигнев Моронь, уже упоминавшийся здесь знакомый писателя, который после шестнадцатилетнего отсутствия в Дрогобыче вернулся туда в 1939 г. и стал работать учителем. В начале 1942 г., вспоминает Моронь, «Шульц дал мне на хранение большую папку рисунков и набросков и одну картину. Он хотел дать мне остальные картины и **начатые литературные работы** (выделено мной. — Е. Ф.), но я сам ему посоветовал не оставлять всё в одних руках. И тогда он дал их лицу, мне незнакомому; фамилию он мне назвал, но, к сожалению, я ее совершенно забыл. Судьба же того, что осталось у меня, совершенно удивительна. (...) Я в 1944 г. должен был выехать из Дрогобыча в Маков. Вещи Шульца взял с собой. В Макове-Подгалянском я жил в доме возле моста через Скаву. Перед самым приходом советских войск немцы эвакуировали нас на три дня; вернулись мы уже после прихода русских. Дом был полностью разграблен. Корзина с бельем, где лежала папка Шульца, исчезла. Пастельная картина, изображающая принцессу и пажей, была раздавлена и истоптана, поломана на куски — реставрации не поддавалась. Официальная версия гласила, что разрушения произвели власовцы или немцы; я скорее думаю, что местное хулиганье (...) Во всяком случае все эти памятные вещи пропали без следа».

В пропавшем депозите, переданном Мороню, содержалась, таким образом, только часть художественных работ Шульца. Кому вручил он другие рисунки и литературные работы? Збигнев Моронь мало что знает: «Кем был другой хранитель рисунков и рукописей Шульца? Это наверняка был не еврей, а русин или поляк, может быть, не из города — из Самбора или Стрия. Пока что совершенно не могу припомнить фамилию».

Трудность поисков пропавших работ исключительно велика: выжившие люди рассеяны повсюду, после репатриации оказались в новых местах жительства. Те, что остались, находятся за границей, и напасть на их след нелегко. Два моих путешествия — в 50-е и 60-е годы — в Дрогобыч и окрестности убедили меня в трудности этой задачи. Работы Шульца могли быть уничтожены; могли попасть в руки



Бруно Шульц.
Две обнаженные девушки в дрожках, до 1937



людей, не отдающих себе отчета в их ценности, а может, и происхождении. Наконец, нельзя исключить, что часть их лежит в львовских, самборских или других архивах, что установить трудно. Во всяком случае до сих пор они не обнаружены несмотря на мои недостаточно успешные поиски.

Мороню Шульц особенно доверял; на его адрес — на ул. св. Варфоломея — приходили в этот последний период письма Шульцу. В этот же дом, как пишет Моронь, «пришли Шульцу арийские бумаги от Матушевского (вероятно, через Матушевского от Т.Штурм де Штрёма. — *Е.Ф.*) с советом ехать в Варшаву. Однако Шульц не решился ехать: не хотел оставить старшую сестру».

О своей сестре Хане Гофман Шульц очень тревожился и, как умел, заботился. Он не мог себе позволить оставить ее одну, больную, в Дрогобыче. У него самого была некоторая защита ввиду выполняемой работы, сестра же ничем не была защищена. Моронь сообщает, что, когда немцы выселили его с семьей с виллы на Варфоломеевской, он оставил себе ключ от входной двери. Долгое время тянулся ремонт дома, проводившийся немцами, которые собирались устроить там детский сад — «Kinderheim»; во время ремонта вилла стояла пустая. Моронь пользовался своим ключом и вечерами пускал в виллу знакомых евреев, зная, что в немецкое здание жандармы заглядывать не станут. Однажды вечером к нему пришел Шульц с сестрой, прося, чтобы Моронь спрятал ее в оставленной вилле. Моронь пошел туда с ними, но, вставляя ключ в замок, с ужасом обнаружил, что внутри торчит ключ. Через приоткрытое окошко он спросил, кто там. Через некоторое время на лестнице появилась какая-то женщина, «зеленая от страха». Оказалось, что в доме находилась семья прораба ремонтных работ Авидгора, сына дрогобычского раввина. Эти люди воспользовались пустыми помещениями запертой виллы и тоже там спрятались. Однако женщина, вышедшая к двери, не хотела впускать сестру Шульца, говоря, что та нервная и своим поведением может выдать убежище. Разгорелся долгий спор, сестра Шульца начала громко плакать, а в трех домах оттуда жил немецкий ландрат. Надо было отвести Ханю Гофман через полгорода до самого дома, что счастливо удалось. Другой раз Шульц вместе с сестрой прятался в вилле Мороня целые сутки, после чего вышел, узнав, что Ландау вернулся в Дрогобыч из служебной поездки; сестра оставалась там еще четыре дня вместе с одиннадцатью другими евреями. Малого не хватало, чтобы убежище было замечено, когда раввин Авидгор разжег вечером огонь, собираясь что-то готовить.

Наступил вынужденный переезд в гетто. Ханя Гофман умерла при точно неизвестных обстоятельствах, тяжелобольная, на грани безумия. Рукописи и рисунки были спрятаны или переданы на хранение людям, находившимся в сравнительной безопасности — в меньшей, казалось, опасности. Скончавшаяся сестра уже ни в чем не нуждалась. Полон страхов, предчувствий худшего, что могло наступить, Шульц был уже готов спастись бегством: Дрогобыч ни к чему уже его не обязывал, а состояние опасности усиливалось с каждым днем. Даже живописные работы, которые он выполнял по заказу Ландау, переставали его защищать: расписывание *al fresco* особняка начальника гестапо, комнаты в квартире «протектора», орнаментальные фрески в *Reitschule*... Работу он целенаправленно затягивал, но наконец все было завершено. Осталось только одно требование: спасти жизнь.

19 ноября 1942 г. он утаил от Фридмана свое решение о выезде, который был намечен на этот же день. Зато сообщил об этом Гурскому и утром навестил его в садовой конторе (*Gärtnerei*) на ул. св. Иоанна Богослова, 27, которая помещалась в здании промышленника Хененфельда и принадлежала местному гестапо. В этой конторе Гурский работал как один из жителей гетто. Шульц, возбужденный и нервированный ожидающим его путешествием, поделился со своим бывшим учеником и другом опасениями, что немцы могут вытащить его из поезда на какой-нибудь станции, опознав в нем еврея. Он говорил, что могут вытащить на маленькой станции и застрелить. «Я слышал о таких случаях, это очень часто бывает...» — сказал он со страхом в глазах, как вспоминает Эмиль Гурский. Шульц попросился и, выходя, еще прибавил, что у него ничего нет на дорогу и что он собирается зайти в Юденрат за хлебом, который заберет собой как провиант на путешествие. Воспоминания Э.Гурского напечатаны в составленном мною сборнике «Бруно Шульц. Письма, фрагменты, воспоминания о писателе». Здесь я привожу также некоторые устные сообщения автора этих воспоминаний.

Шульц попросился и ушел. В *Gärtnerei* было сравнительно безопасно, это была немецкая фирма, которой не угрожали обыск или грабеж. Какие-то две дамы принесли туда Гурскому на хранение маленький чемоданчик-саквояж с мелкими ценностями. Сказали, что там есть и бутылка вина, предна-



значенная тому, кто займется хранением саквояжа. Примерно через час после ухода Шульца до Гурского дошло известие о его трагической смерти. В этот четверг, позже названный «черным четвергом», между 10 и 11 часами утра, вдруг разгорелась «дикая акция», которой никто не ожидал. На улицу внезапно выскочили остервенелые гестаповцы и принялись хаотически стрелять в каждого прохожего, преследуя некоторых даже в подъездах домов, чтобы догнать там и убить. Как говорили, непосредственной причиной этой вспышки ярости — или же предлогом для массового убийства — стало ранение немца в палец евреем, который пытался от него защищаться. Спокойная улица во мгновение ока превратилась в место казни и массового побоища. Шульца догнал гестаповец Карл Гюнтер, антагонист Феликса Ландау, у которого Шульц работал живописцем. Гюнтер узнал «подопечного» своего недруга, крикнул: «Dreh dich um!» («Отвернись!»), — и дважды выстрелил ему в затылок.

Гурский достал вино из саквояжа и пил, плача от отчаяния после смерти друга, опасения которого сбылись раньше, чем он сам предполагал, — не по пути, а еще в Дрогобыче, в день намеченного побега. Из окон Юденрата видно было лежавшее на тротуаре тело Шульца. Убийца потом хвастал перед Ландау в гестаповском казино, что застрелил «его еврея».

В этом поначалу спокойном — и так резко прерванном — походе за хлебом Шульца сопровождал Изидор Фридман. Он и был очевидцем убийства Шульца. В письме мне он пишет: «Мы были в гетто случайно, чтобы получить продукты. Когда мы услышали беспорядочную стрельбу и увидели бегущих евреев, мы тоже бросились бежать. Физически более слабого Шульца догнал Гюнтер и придержал его, потом приложил к голове пистолет и дважды выстрелил. Ночью я нашел труп Шульца, обыскал карманы — и отдал документы, а также какие-то записки его племяннику Гофману, который погиб месяцем позже. Под утро я схоронил его (Шульца. — Е.Ф.) на еврейском кладбище. Однако могилу его после освобождения Дрогобыча в 1944 г. найти я не смог».

Рахеля Ауэрбах в своих воспоминаниях о Бруно Шульце и его приятельнице Деборе Фогель («Гольдене кейт» №30, ежеквартальный литературный журнал на идише, Тель-Авив, 1964) приводит отрывки из показаний трех евреев-дрогобычан на проходившем в Западной Германии процессе референта гестапо по еврейским вопросам Феликса Ландау, одного из главных убийц евреев. Первый свидетель, Герш Бетман, маляр, потерял в «акции» в Дрогобыче жену и ребенка. Шарфюрер Карл Гюнтер, убийца Шульца, говорил ему: «Ты ничего не бойся, я тебя сам застрелю». Но Бетман вместе с несколькими ремесленниками спрятались в приготовленном убежище. Феликс Ландау, на процессе которого он давал показания и который был приговорен к пожизненному заключению, берег Шульца, велел ему писать фрески в гестаповском казино, в школе верховой езды; в детской комнате у Ландау Шульц по его приказу покрыл все стены росписью сказочной тематики. Шульц был застрелен возле Юденрата на улице Шацкого в ходе уличной акции — стрельбы без проверки документов. Другой свидетель, доктор Шахна Вейсман, хирург из Хайфы, был учеником Шульца. В тот четверг он попал в самый центр внезапной стрельбы, но ему удалось спрятаться в подворотне и добраться до помещения Юденрата. В окно он видел тело Шульца, лежавшее на тротуаре. Акция началась после того, как еврей-аптекарь Курц-Рейнес, который обзавелся оружием, собираясь бежать в Венгрию, выстрелил в немца, задержавшего его на улице, и легко его поранил. Шульц в то время, по показаниям Герша Бетмана, был в плохом состоянии здоровья, приходил в больницу «больной и подавленный». Третий свидетель, Гарри Зеймер, физик из Иерусалимского университета, бывший ученик Шульца, показал, что, когда гестаповец убил его учителя, его, Зеймера, уже не было в Дрогобыче. Другой ученик Шульца, поляк Войтович, сделал ему арийские бумаги, и они оба добрались до Швейцарии. «И Шульц мог бы спастись, и у него были бумаги». В последний момент, по показаниям Зеймера, Шульц отказался бежать с ними вместе. Первый из этих трех свидетелей, Герш Бетман, сказал также: «Полуеврей по фамилии Бадьян, потом застреленный, рассказывал мне про разговор между Ф.Ландау и К.Гюнтером: «Угадай, кого я сегодня застрелил? Твоего художника, этого Шульца» — «Жаль, жаль, он мне еще был нужен». — «Потому-то я его и застрелил»».

В тот памятный день в Дрогобыче погибло больше ста евреев, и трупы некоторых еще на следующий день лежали на мостовой в тех местах, где гестаповские пули догнали бегущих. Гюнтер, стреляя в Шульца, знал больше, чем то, что просто стреляет в еврея. Он знал, что пользуется случаем, чтобы



Бруно Шульц.
Юзеф и доктор Готард на прогулке.
до 1937

убить Шульца и отомстить своему антагонисту, так как Феликс Ландау несколько раньше застрелил дрогобычского зубного врача Лёва, «протезируемого раба» Гюнтера. И вот подвернулась возможность реванша. Четверговая «дикая акция» была удобным случаем. Шульц пытался бежать, но был тогда очень слаб, и его панический бег был быстро остановлен. После двух выстрелов он упал на мостовую, один из ста с лишним убитых в тот четверг — один из величайших наших писателей.

Нужно было как можно более точно описать обстоятельства этого преступления со ссылками на показания свидетелей и описанием несостоявшегося побега Шульца из Дрогобыча. Нужда в этой печальной документации тем более велика, что появляются «истолкования», опирающиеся на ложные послышки, попытки изобразить смерть Шульца как своего рода самоубийство — правда, произведенное немецкими руками, но все-таки самоубийство, вытекающее из нежелания спасать свою

жизнь. В литературно-критических исследованиях возможны разные истолкования, различные точки зрения, шкалы оценок и типы анализа. В фактографии же требуется быть точным и не поддаваться полету фантазии.

В 1962 г., в двадцатилетие со дня гибели Бруно Шульца, Артур Сандауэр в своем докладе в варшавском Союзе польских писателей выдвинул свою первую (позднее оставленную) версию смерти Шульца. Вопреки собственной неприязни («присущая мне неприязнь к биографическим расследованиям») он вторгся на территорию биографии и там нашел то, что желал найти. Свою теорию он повторил 10 мая 1963 г. по телевизору. Состояла она в том, что Шульц сам искал смерти, что с этой целью он вслепую кружил по городу — и как раз в день погрома дрогобычских евреев, — вместо того, чтобы укрыться от стрельбы. В первой версии этой выдумки, произнесенной в более узком писательском кругу, критик прибавил, что это было проявлением мазохизма Шульца. Понятие мазохизма, полового извращения, было употреблено в совершенно неверном смысле — как склонность к самобичеванию, мученичеству и даже самоубийству. Думаю, что эта полусамобийственная смерть мазохиста как бы дополняла тезисы критика о творчестве писателя биографическим мотивом. А что совершенно вымышленным — дело другое.

Контраст между правдой, которую я выше показал в фактографическом очерке, и этой выдумкой так резок и недвусмыслен, что делает излишней полемику с утверждениями, нелепость которых сама себя обнаруживает. Вдобавок бороться с этой теорией было бы анахронизмом, так как сам критик за это время от нее отказался.

Это не значит, что он отказался от утверждений о «самоубийстве» Шульца — он расстался только с утверждениями о мазохистской почве этого квази-самоубийства, чтобы по истечении еще двадцати лет со дня гибели писателя найти для них почву... этно-талмудическую! Это не шутка, тут шутки неуместны. В 1982 г. в интервью «Трибуне люду» по случаю сорокалетия со дня кончины Бруно Шульца Сандауэр, в частности, говорил:

«Мог ли Шульц спастись? Да в том-то и дело, что спастись он, пожалуй, не хотел. Не хотел в том смысле, что вообще не был склонен к бунту. По природе он был — как бы это сказать — честным легалистом, человеком, который соблюдает предписания какого бы то ни было (?! — Е.Ф.) закона, бунт был ему чужд. Вы не понимаете? Да это же просто. Основополагающее польское понятие — это бунт, основополагающее еврейское понятие — это подчинение закону. *Dina d'malhuta dina** — говорит Талмуд. «Закон государства есть закон». Шульц не выбрался из дрогобычского гетто, потому что не хотел выбраться, он не был способен — даже перед

* Сентенция на арамейском языке, говорящая о том, что евреи должны соблюдать законы государств, в которых пребывают в диаспоре. — Е.Ф.



лицом смерти — на бунт, а его пребывание на улице в момент, когда гестаповцы убивали каждого прохожего, носило, по моему мнению, характер психоаналитического самоубийства» (везде выделено мной. — Е. Ф.).

Несклонность к бунту, или психоаналитическое самоубийство! Послушание «основополагающему еврейскому понятию», подчинение закону (какому бы то ни было), то есть атрофия инстинкта самосохранения.

Комментарии, пожалуй, излишни — читатель сам рассудит, как это соотносится с действительным ходом событий, с неосуществленными планами побега, попытками спасти творческое наследие и собственную жизнь. И только бунт *sensu stricto*, бунт отчаявшегося человека стал бы для Шульца самоубийством. Но «бунт» побега, решение ускользнуть из клетки? Последний шанс, который он выбрал?

Нет, Шульц не покончил с собой. Ни ради «мазохистского» наслаждения, ни в «психоаналитическом смысле». Нет таких «смягчающих обстоятельств» для шарфюрера Карла Гюнтера, который охотился на писателя и убил его как раз перед несостоявшимся бегством в Варшаву.

А что с Талмудом? Действительно ли он повелевает считать беззаконие законом? Действительно ли, выражая «основополагающее еврейское понятие», учит рабству и подчинению погромам?

Из предшествовавших Сандауэру экзегетов и исследователей Талмуда ни один не ответил бы на эти вопросы утвердительно.

*

Сколько лет уже
на моей антресоли из досок
меж настилом и потолком
свет вековой в 25 ватт мерцает
затемненный мушиными пятнами
за баррикадой макулатуры
Он там заводит часы
пауков не гоняет спит

Наверно перевел уже все сучки и задоринки
неподвижная тень его зарастает известкой
Иногда его вовсе нет
после комендантского часа
он гуляет по Хайдерабаду
отпирает слой за слоем
входит в древесину всё деревее и деревее

В некрашеную доску
сон мой к нему постучал
пан Бруно теперь уже можно
выходите пожалуйста

Он ждет неожиданного
не может услышать мой сон
он никто
трезвее кого угодно
он знает что
нет ни антресоли
ни света
ни меня

Из книги «*Okolice sklepów cyrkonowych*» 1986



Владимир Абаринов

КАТЫНСКИЙ ЛАБИРИНТ

Новая глава, предисловие и постскрипtum к польскому изданию

В 1991 году, еще до того, как были обнародованы катынские документы, в Москве вышла книга Владимира Абаринова «Катынский лабиринт». В настоящий момент книга вышла по-польски под заглавием «Катынские палачи». К польскому изданию автор написал предисловие, большую дополнительную главу 7, где излагает развитие темы Катыни в СССР-России после 1990-го, и постскрипtum. При подготовке дополнительных материалов автор использовал информацию как из своего архива, так и из опубликованных в последние годы источников, в частности, из обстоятельного исследования И.С.Яжборовской, А.Ю.Яблокова и В.С.Парсидановой «Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях» (РОССПЭН, Москва, 2001).

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЛЬСКОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга писалась в другой жизни и другом мире. О них сегодня даже странно вспоминать. Будто листаешь семейный альбом фотографий и видишь себя в далеком детстве, наивного и глупого, и смотреть на себя прежнего немного стыдно, потому что ведь у каждого в детстве были стыдные тайны, о которых мама так и не узнала, но ты-то знаешь. И еще немного жалко себя — потому же, почему бывает жалко людей, запечатленных на довоенных или дореволюционных фотографиях: они не догадываются, что их ждет впереди.

Закат брежневской эпохи был таким медленным и долгим, что мы ничего не замечали. Лично я был уверен, что советский рейх простоят еще лет пятьсот. Это было абсурдное, вывернутое наизнанку государство, но рушиться ему было не от чего — ни извне, ни изнутри его никто не разрушал. Даже диссиденты требовали от вождей лишь одного: соблюдайте собственную конституцию. Кафкианская реальность, но иной нам было не дано, и мы приспособились к той, какая была.

Действительное разрушение большевистской империи началось тогда, когда потеряла свою эффективность пропаганда — машина крутилась, но на холостых оборотах. У нас просто наступила идиосинкразия: пропаганды было слишком много, и головной мозг стал сопротивляться. Это была защитная реакция организма.

В 70-е годы «железный занавес» уже основательно проржавел и прохудился. Несомненно, в Кремле думали над тем, как бы «выпустить пар», и при этом искали альтернативу «буржуазной» культуре. Так посредственный певец, но зато восторженный поклонник социализма американец Дин Рид стал в СССР звездой рок-н-ролла, а серб Гойко Митич — главным индейцем восточногерманских вестернов. Но самой большой брешью, самым широким окном в мир для моего поколения была Польша.

Сейчас уже и не вспомнить, с чего это началось. Максими Станислава Ежи Леща я прочел раньше, чем увидел «Пепел и алмаз». И то и другое стало для меня откровением. Я был заворожен этим строем чувств и мыслей, этой неповторимой, неподражаемой смесью горького сарказма с высоким романтизмом, трагедии с фарсом, нежности со стойкостью. В нашей компании студентов московского института кинематографии слова «польское кино» были термином, не требующим объяснений. «Польское кино» не обязательно было польским. Прочитав сценарий однокурсника, я мог сказать ему: «Это польское кино». Такой оценкой можно было гордиться. Но она означала, что сценарий, скорее всего, так и останется рукописью. «Пейзаж после битвы» я увидел раньше, чем прочел Тадеуша Боровского, но и «Прощание с Марией» для меня — тоже «польское кино».

Позднее у меня появились друзья среди польских актеров и режиссеров, на московском кинофестивале польская делегация была самая общительная и раскованная, оправдывая присвоенное кем-то Польше звание «самого веселого барака в соцлагере», а однажды я наблюдал, как Даниэль Ольбрыхский давал интервью юной советской журналистке, на все вопросы отвечая исключительно цитатами из песен Владимира Высоцкого, и всякий раз в точку, и ни разу не повторился. Это был феерический спектакль! Журналистка смеялась вместе со всеми, но, когда поняла, что ни слова опубликовать не сможет, смех обратился в слезы, и кто-то сказал: «Ну что ты делаешь, Данила? Дай девочке нормальное интервью, а то ее с работы выгонят». И Данила дал нормальное интервью.

Потом наступил 1981 год, и дикторы советского телевидения строгими голосами вешали про «перерывы в работе» в Польше. Назвать забастовки «Солидарности» забастовками для кремлевского агитпропа было бы страшной крамоллой: бастуют при капитализме, а при социализме бастовать не из-за чего. В моем кругу в те дни родилась фраза «Вся надежда на Польшу». И Польша надежду оправдала. Когда выяснилось, что Москва не пошлет войска в Польшу, мы поняли: польский бастион устоял, а советская империя обречена. Она скончалась естественной смертью, распалась, потому что пришел ей срок, потому что ослабили державшие ее скрепы страха.



При Горбачеве поначалу никаких кардинальных перемен не ощущалось — слегка открутил гайки, но не слишком. В феврале 1987 г. в лютый мороз на зов перестройки в Москву съехался весь мировой бомонд от Грэма Грина до Йоко Оно. То был какой-то форум в защиту мира. Я ходил по отелю «Космос» и чувствовал себя на балу у Воланда. На этом форуме впервые появился на публике возвращенный из ссылки Андрей Сахаров. Но специфика того момента заключалась в том, что появиться Сахарову уже было можно, а написать об этом в «Литературной газете», где я тогда работал, или показать его по советскому телевидению — еще нельзя.

В руководстве Союза кинематографистов СССР в то время оказались либералы, постоянно испытывавшие режим на прочность — именно там получили крышу над головой и легальную трибуну люди, составившие впоследствии первую команду Ельцина. На очередной кинофестиваль в Москву Союз пригласил Анджея Вайду и Адама Михника, но Михнику не дали визу, и тогда Вайда, который должен был возглавить жюри, сказал, что он тоже не поедет. В итоге приехали оба.

Я привез Вайду в редакцию, в комнату набилось много народу, это было первое появление Вайды в Москве после «Человека из мрамора». Среди прочих там сидел человек, написавший гнуснейший пасквиль на фильм «Дантон», но он задавал вопросы как ни в чем не бывало и, по всей видимости, ничего похожего на комплекс вины не ощущал и даже, наверно, искренне не понял бы, о чем речь, если бы его спросили, не стыдно ли ему. Во всяком случае многие из тех, кому тогда задавали подобные вопросы, реагировали именно так.

«Молчащих нельзя лишить слова», — сказал Станислав Ежи Лец. Пора было говорить. Я работал в могучей, авторитетнейшей «Литературной газете». В то время журналист с таким удостоверением почти не знал преград. Чиновникам и обыкновенным гражданам и в голову не могло прийти, что он действует не по заданию редакции, а по собственному почину. Я взялся за проблему секретных протоколов к пакту Молотова—Риббентропа. Моим старшим товарищем и наставником в этой работе был ныне покойный блистательный историк Натан Эйдельман. Нет, я не обнаружил оригиналы протоколов — даже во времена расцвета горбачевской гласности к самым секретным архивам никого извне не подпускали. Но я нашел косвенные подтверждения их существования в документах Нюрнбергского процесса. Эйдельман пригласил меня участвовать в дискуссии в Центральном доме литераторов. Уже наутро об этом донесли моему газетному начальству, которое велело мне впредь не участвовать в «полуподпольных собраниях».

То было странное время. Еще действовала цензура, но она уже не знала, что можно, а чего нельзя. Когда в августе 1989 г. в связи с 50-летием начала II Мировой войны развернулась острая дискуссия о советско-германских протоколах и стало ясно, что чаша весов клонится к признанию их подлинности, мой редактор принял запоздалое решение печатать мой текст на эту тему, который провалялся у него на столе полгода. Но к тому времени я уже отдал статью в московский журнал. Цензура вынула ее из сверстанного номера, и номер полетел к черту, но я переслал статью в Таллин, где она и была опубликована. А месяц спустя вышла и в Москве.

В архиве, где я искал документы о Катыни, полагалось все выписки делать в специальную тетрадь с пронумерованными страницами, чтобы нельзя было вырвать и унести часть записей. После занятий тетрадь надлежало сдавать на хранение работникам архива, которые внимательно просматривали записи, выясняя, не содержат ли они государственную тайну. Лишь после такого просмотра тетрадь можно было забрать домой. Но мне вся эта морока сильно осложняла работу, к тому же я был почти уверен, что катынское дело по-прежнему составляет государственную тайну (узнать это было неоткуда, ведь перечень гостайн тоже был гостайной). Поэтому я царапал свои заметки на клочках бумаги, а клочки совал в карман. Все мое катынское досье состояло из кучи бумажных обрывков, в которых я потом мог разобратся.

Ничего особенно героического во всем этом нет. Я никак не пострадал — меня не выгоняли с работы, не вызывали в КГБ. А неприятности с цензурой бывали у всех приличных людей. Но все-таки, когда оригиналы протоколов, а затем и катынские документы наконец нашлись в президентском архиве и были опубликованы (их никто и не терял, разумеется), у меня было ощущение свалившегося с плеч груза — дело сделано, повернуть историю вспять невозможно. Оказалось, еще как возможно. Всего только и требуется спрятать протоколы в какую-нибудь «особую папку». И через полвека историки и журналисты нового поколения начнут раскопки заново.

Иногда мне все это кажется каким-то наваждением — не то, что было со мной и Россией тогда, а то, что происходит с Россией сегодня без меня. Я смотрю теперь на нее издалека, из-за океана, не улавливаю многих деталей, но ведь со стороны виднее. Происходящее в России представляется мне экранизацией романа жанра «альтернативная история», чудится, будто к власти в Москве благодаря какой-то дикой причуде истории пришли постмодернисты и устроили инсталляцию, перформанс размером со страну. Будто Пелевиным написаны фантасмагорические визиты на бронепоезде северокорейского вампира Ким Чен Ира, абсурдные «съезды гражданского общества» под патронатом верховной власти и шпиономанские судилища в духе Льюиса Кэрролла («— Нет! — сказала Королева. — Пусть выносят приговор! А виновен он или нет — потом разберемся!»).

Я публикую свои маргиналии и lamentации в Интернете, а потом читаю в блогах, что мне, предателю и клеветнику, давно пора на Колыму. Наивные люди. Они думают, что лояльность режиму спасет их от Колымы. Как говорит нам история родной державы, лояльные на Колыме тоже нужны — ведь они работают не за страх, а за совесть.



Только теперь я вижу скрытый смысл названия этой книги. Я побывал в лабиринте, но до Минотавра не добрался. Наш Минотавр, наше общее чудовище — тяжкое наследие сталинизма. Еще недавно я все твердил согражданам, как рыцарь Ланцелот из пьесы Евгения Шварца: «Дракон вывихнул вашу душу, отравил кровь и затуманил зрение. Но мы всё это исправим».

Должность вопиющего в пустыне утомляет. Но никакой другой у меня нет.

Август 2006, Арлингтон, Вирджиния

Глава 7. ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Михаил Сергеевич Горбачев искренне верит, что он дал свободу народам Советского Союза. На его месте я бы, наверно, тоже верил. Но на своем верить этому не могу, потому что очень хорошо помню, как было на самом деле.

«О, не верьте, не верьте, почтенные иноземцы, что мы боимся благодетельной гласности, только что завели — и испугались ее, и прячемся от нее. Ради Бога, пуще всего не верьте «Отечественным запискам», которые смешивают гласность с литературой скандалов», — писал, пародируя кого-то, Достоевский в 1861 году, когда Россия после лютой стужи николаевского царствования пошла по пути великих реформ. (В английских толковых словарях эта исторически первая дефиниция гласности отсутствует вовсе — *glasnost* ассоциируется исключительно с горбачевской перестройкой.)

Именно это и произошло с горбачевской политикой гласности: едва приоткрыв клапан, генеральный секретарь ЦК КПСС, который очень хотел нравиться иноземцам, испугался последствий и то и дело норовил закрыть его. Попытки восстановить контроль над прессой маскировались разными предложениями — например, борьбой с порнографией. Он провел закон о защите чести и достоинства президента, тем самым показав, что президент «равнее» прочих граждан. (Закон этот отнюдь не остался мертвой буквой — по нему привлекались к ответственности лидеры оппозиции, а арбатских торговцев, торговавших матрешками, изображающими Горбачева, штрафовали, конфискуя товар.)

Действительно при Горбачеве, с превеликими трудами, был принят закон о печати — в июне 1990 года. Но уже в январе 1991-го застрельщик перестройки попытался отменить его «в связи с необъективным освещением событий в Литве». Речь идет о войсковой операции по захвату телецентра и других ключевых объектов в Вильнюсе — в город вошли танки и бронетранспортеры, московский спецназ штурмом взял телецентр, при этом погибли защищавшие здание в качестве живого щита безоружные граждане. После событий в Вильнюсе вся либеральная пресса встала в оппозицию режиму и впервые, черным по белому, назвала его преступным. Горбачев это шокировало. Он просто не представлял себе, что журналисты могут осмелеть до такой степени, у него это не укладывалось в голове. На заседании Верховного Совета генсек предложил приостановить действие закона о печати, но столкнулся с такой обструкцией зала, что вынужден был отступить. Эта нерешительность и стала смертным приговором режиму, который оказался слаб в коленках. Путч в августе 1991-го был агонией советской империи.

Примечательна обмолвка Горбачева: «Этот вопрос мы решим по ходу пьесы», — сказал он однажды вместо «по ходу съезда». Он не понимал, что события уже давно вырвались из рамок стройного сценария. И до последней возможности все твердил про «социалистический выбор», который сделал еще его дед.

Горбачев не подарил нам свободу слова. Мы взяли ее сами, постепенно, шаг за шагом, расширяя зону гласности. На заре перестройки я и мои коллеги по «Литературной газете» постоянно шли как бы по тонкому льду: вот сюда уже можно, а туда — еще нет. Пределы допустимого определялись всякий раз заново. Статья, не имевшая шансов у одного редактора, могла проскочить у другого. Тонко вычислялся политический момент. Помогали ссылки на прецеденты — публикации в конкурирующих изданиях — и на публичные выступления генсека. Сегодня это звучит смешно, но именно таким образом увидели свет наиболее громкие материалы ЛГ. «Чуть ли не каждую неделю появлялись «дерзкие» публикации, поднимавшие планку допускаясь в тот момент открытости», — пишет Горбачев в своих мемуарах «Жизнь и реформы». Там же, в другом месте: «Гласность вырывалась из рамок, которые первоначально пытались ей определить...»

Мне в какой-то мере было проще: я работал в отделе зарубежной культуры, эта сфера в глазах высокого начальства была не столь взрывоопасна, как внутренняя политика или экономика. В мае 1988 г. я пришел в Союз кинематографистов СССР на советско-польский «круглый стол» об историческом кино. Дискуссия быстро вышла за узкопрофессиональные рамки. Критик Анджей Вернер прочел неслыханный по откровенности доклад о «белых пятнах» в истории двусторонних отношений. Советские историки, и это было еще удивительнее, поддерживали диалог, проявив полную осведомленность в этой проблематике. В такой концентрации рассуждения о трагизме советского периода в истории Польши и о лжи, окружающей его, мне прежде слышать не приходилось. Отрывки из стенограммы «круглого стола» были опубликованы без особых усилий — возможно, бдительность цензуры усыпила тема — «историческое кино». Но очень скоро я понял, что это только начало работы. Тираж «Литературной газеты» в то время был 6,5 млн. экземпляров. После выхода в свет статьи на меня обрушилась лавина читательских писем.



Теперь из мемуаров бывших кремлевских сановников я знаю, что Горбачев столкнулся с проблемой «белых пятен» уже через несколько недель после своего избрания генеральным секретарем ЦК в 1985 году. С предложением снять табу к нему обратился Войцех Ярузельский, к которому Горбачев относится с подчеркнутым пиететом. Новый советский лидер не возражал, но сказал, что недавно приступил к исполнению обязанностей и ему требуется время, чтобы вникнуть в эти вопросы. Горбачев умел по аппаратной привычке «спускать на тормозах» неприятные дела, для этого советская система изобрела множество уловок в духе законов Паркинсона. Но генерал проявил настойчивость, и в ходе его визита в Москву в апреле 1987 г. была подписана «Декларация о советско-польском сотрудничестве в области идеологии, науки и культуры», в которой было сказано, что «все эпизоды (совместной истории. — В.А.), в том числе драматические, должны получить объективное и четкое истолкование с позиций марксизма-ленинизма». На основании декларации была создана и уже в мае того же года провела первое заседание двусторонняя комиссия историков.

Никаких вестей от членов комиссии, заседавшей за закрытыми дверями, не доносилось. Моя наивная попытка помочь советским историкам привела лишь к попытке одного из них воспрепятствовать моей работе. Но мое начальство не нашло в моих занятиях ничего предосудительного.

Сегодня трехлетняя эпопея комиссии описана во всех подробностях, как ее польским сопредседателем Яремой Мачишевским, так и советским — Георгием Смирновым. Проблема советской части комиссии состояла не только в том, что в нее входили люди, посвятившие свою научную карьеру апологии довоенной внешней политики Сталина и разоблачению «польской контрреволюции» (один из них, Олег Ржешевский, писал о «заседавшей в КОС-КОР и руководстве пресловутой «Солидарности» агентуре империалистических разведок»), но и в том, что она не имела никаких полномочий на проведение самостоятельных научных исследований.

Вместе с тем в качестве компенсации за проволочку в катынском вопросе Смирнов добился рассекречивания решения президиума Исполкома Коминтерна от августа 1938 г. о роспуске компартии Польши. Очевидцы рассказывают, что на заместителе директора Центрального партийного архива Аникееве, который принес бумагу на заседание комиссии, лица не было, у него тряслись руки. Тот факт, что он должен передать совершенно секретный документ иностранному профессору, не укладывался у него в голове и разрушал сложившуюся в ней картину мира.

Советская часть комиссии оказалась в нелепом положении: она не могла принимать политических решений, но и побудить руководство страны к их принятию была не в силах.

Между тем в Кремле стал муссироваться вопрос о секретных протоколах к пакту Риббентропа—Молотова. 5 мая 1988 г. он был поставлен на заседании Политбюро в связи с предстоящим визитом Горбачева в Польшу. Разброс мнений оказался таков, что, как пишет тогдашний секретарь ЦК Вадим Медведев, «девять десятых в решении этого вопроса зависело от Горбачева. Но он подтвердил свою прежнюю точку зрения: по копиям, как бы достоверно они ни выглядели, юридическое признание документов неправомерно».

Аргумент об отсутствии подлинника, на основании которого Советский Союз десятилетиями отрицал аутентичность копий протоколов, для профессионального историка звучит, конечно, дико. Оригиналы множества межгосударственных договоров утрачены, но это отнюдь не значит, что сами договоры утратили силу или что надо переписать историю так, как если бы их никогда не заключали. Помнится, Натан Эйдельман в ответ на этот довод рассказал, что недавно из отдела рукописей Ленинской библиотеки пропал подлинник Ништадского мирного договора между Петром I и Карлом XII — может, теперь по этому случаю снова объявить войну Швеции?

Но дело не только в абсурдности аргумента, но и в том, что Горбачев знал, что оригиналы существуют, и не только знал, но и видел их собственными глазами.

Как выяснил Валерий Болдин (в то время — заведующий Общим отделом ЦК, позднее — шеф аппарата президента СССР), сразу после смерти Сталина его ближайшие клеветы вскрыли его личный сейф и разобрали хранившиеся там документы по служебной принадлежности. Подлинники секретных протоколов взял себе Молотов. В его личном сейфе они и хранились вплоть до октября 1957 г., когда Молотов был снят Хрущевым с высших партийно-государственных постов и отправлен послом в Монголию. Оригиналы протоколов поступили тогда в архив Политбюро и хранились там за семью печатями. Даже глава государства не мог распоряжаться бумагами этого архива бесконтрольно. Болдин пишет, что показал Горбачеву протоколы и карту раздела Польши с автографом Сталина в начале 1987 г. и получил команду: «Убери подальше!»

Катынское же дело и подавно не могло сдвинуться с мертвой точки. Парадокс ситуации заключался в том, что Кремль хотел — или делал вид, что хотел, — принять политическое решение на основании архивных документов; но ведомства-архиводержатели не могли представить документы, не имея политического решения. С этой аппаратной головоломкой приходится постоянно сталкиваться любому бюрократу — человек опытный чутко улавливает умонастроения начальства и точно знает, когда нужны документы, а когда отписки. Академик Смирнов отовсюду получал отписки.

Александр Яковлеву, которого Смирнов донимал просьбами помочь в поисках документов, генсек отвечал одним словом: «Ищите!» Валерий же Болдин на вопросы Яковлева о катынских документах «уверял, что таковых у него нет, но говорил это с легкой усмешкой». «Иногда у меня появлялись сомнения в искренности ответов на мои просьбы», — признается Яковлев.



Саммит Горбачева и Ярузельского в июле 1989 г. не оправдал ожиданий поляков. Как пишет д-р Мачишевский, Горбачев высказался о Катыни «только в результате стараний, настояний и прямо-таки требований польского руководства». Советский генсек затронул тему лишь в послесловии к брошюре о своей встрече с польской интеллигенцией. «История этой трагедии, — написал он, — сейчас тщательно исследуется. По результатам исследования можно будет судить, насколько оправданны те или иные суждения, оценки». На самой встрече заговорить на катынскую тему у Горбачева не хватило духу. Ему все еще казалось, что ее можно обойти и забыть, он искренне не понимал, почему бы Москве и Варшаве не сосредоточиться на будущем и не предать забвению прошлое.

Между тем вопрос о переоценке пакта Риббентропа—Молотова встал на Первом съезде народных депутатов по настоянию представителей прибалтийских республик. Горбачев в своем выступлении заявил, что подлинники протоколов не найдены, а судить о подлинности копий он считает невозможным. Даже выдавший виды Болдин, внимая речам генсека, изумлялся такому фарисейству.

Вскоре Горбачев, как бы между делом, спросил Болдина, уничтожил ли он протоколы. Болдин остолбенел: сделать это он мог лишь по письменному распоряжению первого лица. Но лицо это как раз не хотело оставлять своих следов в таком щекотливом деле. В этом эпизоде, как в капле воды, отражается половинчатость натуры первого и последнего президента СССР — он не решался ни уничтожить документы, ни опубликовать, ни даже признать, что видел их. О том, что видел, не знал даже его ближайший соратник Александр Яковлев, возглавивший на съезде комиссию по политической и правовой оценке пакта 1939 года. После отчаянной борьбы, как публичной, так и закулисной, Второй съезд, состоявшийся в декабре того же 1989 г., признал предвоенные советско-германские секретные протоколы «юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания». Голосование по проекту постановления было открытым. Горбачев не спешил поднимать руку «за», наблюдая за залом, и сделал это, лишь убедившись, что «за» голосует большинство.

Постановлению предшествовали разнообразные и хитроумные ходы, направленные на легитимацию копий. Одним из главных возражений противников признания аутентичности копий была подпись Молотова, сделанная латиницей, что не соответствовало дипломатическому протоколу и как будто не было в обычае у наркома иностранных дел. Тогда депутат от Эстонии академик Эндель Липмаа представил комиссии образчики латинского автографа Молотова из своей личной коллекции — оказалось, что на иноязычных экземплярах документов Молотов подписывался именно так. Заведующий международным отделом ЦК Валентин Фалин передал комиссии результаты криминалистической экспертизы, установившей, что текст советско-германского договора о ненападении 1939 г. и секретные протоколы напечатаны на одной и той же машинке. Доложив об этом генсеку, Фалин сказал Яковлеву: «Протоколы существуют, и Горбачев их видел. Непонятно, для чего генеральный разыгрывает этот спектакль».

Я следил за перипетиями этой борьбы с неослабевающим интересом, хотя видел только верхушку айсберга. У меня уже в конце 1988 г. была написана большая статья-расследование о секретных протоколах на Нюрнбергском процессе, о показаниях на эту тему Риббентропа и Вайцзеккера; я списался с адвокатом Гесса Рудольфом Зайдлем, который допрашивал их в качестве свидетелей защиты; из рабочих документов советской делегации в Нюрнберге я знал, что следователи и обвинители находились под неусыпным наблюдением сотрудников МГБ, докладывавших о каждом их шаге в Москву; наконец, знал я и о загадочной смерти в Нюрнберге одного из советских военных прокуроров Николая Зори — по странному совпадению, именно ему пришлось вести допросы свидетелей, подтверждавших существование секретных протоколов, и ему же было поручено представление доказательств по Катыни.

Мне хотелось, чтобы статья вышла в «Литературной газете», но в то же время важно было напечатать ее к 50-летию начала II Мировой войны. Статья была опубликована вовремя, но не в Москве, а в Таллине, в русско-язычном журнале «Радуга».

Оригиналы же секретных протоколов были представлены публике лишь 27 октября 1992 г., уже при Ельцине. Позднее, вспоминая о своих переговорах с покойным японским премьер-министром Рютаро Хасимото, Борис Ельцин написал, что в Москве раздумывали, не заключить ли с Токио некий негласный пакт о Южных Курилах, которые Япония считает своей территорией. Однако отказались от этой идеи: «Время секретных протоколов все-таки уже в прошлом. Ничего хорошего от возрождения этой практики не будет».

Теперь, с расстояния в 17 лет, видно, что Первый и Второй съезды народных депутатов были высшей точкой горбачевской гласности и демократизации. Горбачев выдохся в неравной борьбе с партийным аппаратом, а опереться на радикальное крыло реформаторов опасался. Народ, измученный борьбой за выживание, отказал в доверии своему лидеру, забалтывающему любую проблему. Кремль переходил к обороне, защите «идеалов социализма» от посягательств слишком рьяных либералов («...многие начали срывать на истерики, — писал впоследствии Горбачев, — злобные выпады против перестройки и лично против меня. Одни мстили за разрушение привычных миров и удобного для них порядка. Другие, пьянея от свободы, соревновались в показной смелости»). Пресса была заполнена статьями о преступлениях сталинизма, но непорочные ризы Ленина оставались неприкосновенными.

«Говорят, что рамки социализма для перестройки тесны, — вещал Горбачев на встрече с деятелями науки и культуры в январе 1989 года. — Исподволь подбрасывается мысль о плюрализме, многопартийности и даже частной собственности». Но в марте 1990-го ему пришлось смириться с многопартийностью. На внеочередном



Третьем съезде был поставлен вопрос об избрании Горбачева президентом — он испустил вздох облегчения, когда было решено избирать съездом, а не всенародным голосованием, которое он, несомненно, проиграл бы. Но и на съезде при отсутствии альтернативных кандидатур за него было подано всего 59,2% голосов.

Катынская проблема тем временем перешла в стадию аппаратных игр. По высоким кремлевским кабинетам циркулировали совершенно секретные записки, справки и проекты решений. Одни бесследно пропадали, не возымев никаких последствий, другие получали ход, обрастали визами, но из замкнутого круга секретного бумагооборота вырваться не могли.

22 марта 1989 г. Эдуард Шеварднадзе, Валентин Фалин и Владимир Крючков подают в ЦК КПСС под грифом «секретно» записку «К вопросу о Катыни». У авторов ее нет сомнений в том, какая из двух версий верна. «Советская часть Комиссии (историков. — В.А.), — пишут они, — не располагает никакими дополнительными материалами в доказательство «версии Бурденко», выдвинутой в 1944 году. Вместе с тем нашим представителям не дано полномочий рассматривать по существу веские аргументы польской стороны». Авторы записки предлагают: «Видимо, нам не избежать объяснения с руководством ПНР и польской общественностью по трагическим делам прошлого. Время в данном случае не выступает нашим союзником. Возможно, целесообразнее сказать, как реально было и кто конкретно виновен в случившемся, и на этом закрыть вопрос. Издержки такого образа действий в конечном счете были бы меньшими в сравнении с ущербом от нынешнего бездействия».

И опять заседание Политбюро, и новое поручение различным инстанциям в месячный срок представить ЦК КПСС «предложения о дальнейшей советской линии по Катынскому делу». Но такие предложения, а вернее указания, инстанции хотели получить как раз от ЦК КПСС. В ответ на слезные мольбы академика Смирнова, просившего принять хоть какое-нибудь решение, ему от имени Горбачева было предложено вместе с д-ром Мачишевским выступить с совместным обращением к гражданам, организациям и архивам Польши, Советского Союза и третьих стран с просьбой направлять комиссии свидетельства и документы, имеющие отношение к событиям в Катыни. Но Мачишевский категорически отказался участвовать в этом фарсе.

Видимо, в момент тяжких раздумий Горбачев решил посмотреть на документы «особой папки». Бегло прочитав несколько страниц, он собственноручно заклеил пакеты скотчем и вернул их Болдину со словами: «Храните получше и без меня никого не знакомьте. Слишком все это горячо».

Горбачев держал в руках документы «особой папки» за 10 дней до визита Ярузельского в Москву (27-28 апреля 1989). Среди этих бумаг была и самая главная — постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940: «...рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания — расстрела. (...) Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения...»

Но и на этот раз до признания дело не дошло. Болдин пишет, что не может понять, почему генсек «начинал юлить и лгать» всякий раз, когда речь заходила о Катыни. Возможно, в этом не отдавал себе отчета и сам Горбачев.

До меня доходили отголоски аппаратных баталий — в основном через Юрия Зорю, сына погибшего в Нюрнберге военного прокурора. Теперь уже тоже покойный, он был убежден, что отца убили бериевские тонтонмакуты. Я в этом не уверен — эта смерть могла быть и самоубийством. В любом случае она связана с катынским делом, которое в Нюрнберге не удалось приписать нацистам. Юрий Николаевич был одним из исследователей, тщетно стучавшимся в двери закрытых архивов. Волею случая и собственной находчивости он проник в Особый архив, нашел там ключевые документы и понес их в ЦК.

1 декабря 1989 г. Михаил Горбачев встретился в Ватикане с Папой Иоанном Павлом II. Судя по официальной записи беседы, о Катыни они не говорили, но тема эта будто присутствует подспудно в разговоре, который касался главным образом свободы совести и взаимоотношений римско-католической Церкви с русской православной. Конфликт Церквей связан прежде всего с историческим наследием, перекройкой государственных границ, и Святой отец много говорил об этом. Горбачев не вдавался в подробности и сказал, что примет любое решение, к которому придут главы Церквей. А потом произнес удивительную в устах советского лидера фразу: «Это не значит, что мы, используя известное выражение, умываем руки...» Он не хотел быть Пилатом...

Помощник Горбачева Анатолий Черняев в одном из интервью говорит о взаимоотношениях Кремля и Святого Престола в этот период. На реплику журналистки о том, что Горбачев отправился к Папе за тем, «чтобы получить свидетельство в Ватикане, что с «империей зла» покончено», Черняев отвечает утвердительно: «Очень правильная постановка вопроса».

Меня кремлевские интриги интересовали мало. Я вообще не понимал, для чего нужно обивать пороги Старой площади. Меня не волновали личные душевные терзания президента. Я спешно заканчивал книгу, не представляя себе, когда и в каком виде она выйдет и выйдет ли вообще. Издательство дожидалось того дня, когда Горбачев наконец признается.

Полного, безоговорочного признания, однако, не произошло. Горбачев решил не передавать польской стороне документы «особой папки», содержавшей главную улику — постановление Политбюро о расстреле польских военнопленных без суда и следствия. 13 апреля 1990 г. Ярузельский получил от Горбачева две папки, в которых были собраны, по словам советского президента, «косвенные, но достаточно убедительные доказатель-



ва того, что расправа с польскими офицерами в Катыни была осуществлена тогдашними руководителями НКВД». Об ответственности высшего политического руководства страны не было сказано ни слова. Более того, Горбачев считал нужным попросить генерала не раздувать сенсацию. Утвержденный Политбюро проект беседы (тоже под грифом «совершенно секретно») гласит: «Хотел бы посоветоваться с Вами, Войцех Владиславович, как лучше сделать, чтобы внесение окончательной ясности в катынскую трагедию не пошло во вред польским друзьям, а сам факт объявления об этом сейчас не был бы представлен как результат давления». Конечно, забота о своем личном престиже и лицемерное беспокойство по поводу «вреда», который может причинить «польским друзьям» признание вины НКВД, не идет ни в какое сравнение со значением события.

Широкая публика узнала о нем из сообщения ТАСС, в котором было сказано, что «выявленные архивные материалы в своей совокупности позволяют сделать вывод о непосредственной ответственности за злодеяние в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных. Советская сторона, выражая глубокое сожаление в связи с катынской трагедией, заявляет, что она представляет одно из тяжких преступлений сталинизма».

Моя рукопись ушла в набор. Книга вышла в январе 1991 г. неслыханным сегодня тиражом — 75 тысяч экземпляров.

Я в то время работал в «Независимой газете» — совершенно новой и непохожей на все старые. Мы создавали ее на пустом месте и голом энтузиазме. В короткий срок она заняла положение главного оппонента правительства. Когда газете потребовался девиз, я предложил из Тацита — «Sine ira et studio». Начав выходить в декабре 1990-го, «Независимая» сразу же прошла горнило вильнюсских событий и «Бури в пустыне» и во многом сформировала отношение общества к обоим событиям. Эта работа захватила меня целиком. Это время было самым счастливым периодом моей жизни.

Катынь я считал пройденным этапом — главное сказано, остались детали. Я не видел тогда эту тему во всем масштабе. Работая в газете, вообще многое видишь в искаженной и даже обратной перспективе — за мелкой повседневностью подчас не слышна тяжкая поступь судьбы и истории.

В марте 1991-го состоялась генеральная репетиция путча — в Москву под предлогом защиты внеочередного съезда депутатов России, созданного ради отставки Бориса Ельцина, вошли танки. (На самом деле — дабы не допустить демонстраций в поддержку Ельцина.) Отлично помню свои ощущения. Зрелище было не приведи Господь. Стволы аккуратно и молчаливо высовывались из переулков в центре города. В тот же день Горбачев в ответ на требование депутатов съезда войска из города вывел. Но с этого дня военный переворот был лишь вопросом времени. Поэтому, когда в августе грянул путч, я несколько не удивился. Было противно, но не страшно. В конечном счете это и погубило ГКЧП — люди отвыкли бояться. У нас появился иммунитет, и за эту прививку от страха, пожалуй, следует сказать спасибо Горбачеву.

Вечером 21 августа я наблюдал на Лубянке, как толпа валит кумир Дзержинского. В здании КГБ почти не было светящихся окон. Как рассказал мне потом один сотрудник зловещего ведомства, большинство его коллег оставалось на рабочих местах, а свет в кабинетах выключили, чтобы лучше было видно происходящее на площади. То был один из редчайших в истории России моментов, когда тайная полиция оказалась под угрозой ликвидации — предпоследний был в XVIII веке. Единственный русский правитель, при котором не было госбезопасности — Петр III, герцог Голштинский. Он сгоряча отменил Тайную экспедицию, за что вскоре жестоко поплатился: года не процарствовал, как переворотчики во главе с собственной супругой монарха Екатериной отменили его самого. И ведь ни тогда, ни теперь никакая самая бдительная госбезопасность еще ни одного царя от ГКЧП не спасла. С императором Павлом еще интереснее вышло. Первый сановник империи и шеф Тайной канцелярии граф фон дер Пален вел себя замысловато: императора заверял, что нарочно примкнул к заговорщикам, чтобы вовремя пресечь преступные планы, однако же не пресек, но в самый решительный момент вдруг исчез и объявился лишь после убийства Павла. Вот и Горбачев в Форосе то ли выжидал за высоким забором, то ли сам оказался в заложниках у собственной госбезопасности.

Борис Ельцин назвал КГБ «принципиально нереформируемой структурой». Но уничтожить эту структуру не стал, поменяв лишь высшее руководство. А в декабре 1991 г. и вовсе объединил госбезопасность с министерством внутренних дел в одно ведомство, как это уже было после смерти Сталина. Но менее чем через месяц Конституционный суд признал реформу незаконной и отменил указ президента. Много было разговоров о люстрации, но законом они так и не стали. Помню, во время одной из таких дискуссий генерал-майор ГБ выходил из зала курить, нервно играл желваками, слушая ораторов, и говорил мне сквозь зубы: «Мстить будем. А вы как думали?»

Генерал напрасно нервничал. Новые хозяева жизни, русские олигархи, рекрутировали себе в советники отставных лубянских «рыцарей плаща и кинжала». В период первоначального накопления капитала для выживания и успешной борьбы с конкурентами им потребовались собственные службы безопасности. Генерал, собиравшийся мстить, получил высокую должность в частной нефтяной компании, а затем и избрался в Думу по списку компартии. Проблема в том, что у госбезопасности всегда собственная повестка дня. В конце концов она провела одну из самых успешных в своей истории тайных операций: власть в стране перешла к ней незаметно, без драматических эффектов.

Тот краткий период, когда Лубянка оказалась деморализована провалом путча, был золотым временем для историков и журналистов, исследующих мрачные тайны повергнутого режима. Кажется, на второй или третий день после провала путча новый заместитель председателя КГБ генерал Николай Столяров пригласил к себе журнали-



стов, был учтив и радушен, постоянно улыбался. Архивы можно было брать голыми руками — Столяров обещал настежь распахнуть двери хранилищ. Аппарат, правда, поправил своего начальника-неофита — двери разве что слегка приоткрылись, но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы значительно продвинуться в изучении «белых пятен». Ни до, ни после в прежде недоступных архивах не было такого широкого доступа к документам.

Сегодня я вынужден признать, что использовал это время нерационально — я был уверен, что уж теперь-то архивы не закроются никогда. У меня разбегались глаза. Я не знал, за что хвататься, — выхватывал и публиковал самое броское. О том, как вожди Коминтерна в 20-е годы планировали революции в Бразилии и на Филиппинах. Как советская разведка доносила: в Баварии появился некто Адольф Хитлер, марионетка реакционного генералитета. О том, как в годы «холодной войны» Москву опять обуяла идея мировой революции и она за тридевять земель, в иные полушария рассылала своих военных инструкторов и оружие, щедро снабжала повстанцев Третьего мира всем необходимым, от нижнего белья до музыкальных инструментов. Собственными глазами видел и опубликовал документы о безвозмездной поставке партизанам Африканского национального конгресса носков, трусов и книги на португальском языке «Почему в СССР сложилась однопартийная система», а конголезцам — микроскопов, гитар и саксофонов. Под носками стояла подпись не кого-нибудь, а председателя Совета министров Алексея Косыгина. Само собою разумеется, что революционеры учились, лечились и отдыхали в Советском Союзе, прибывая в Москву в целях конспирации кружным путем, через Париж и Лондон, проводили на его территории свои секретные, но расширенные пленумы, а расплачивались за все эти блага тем, что на съездах КПСС дружно пели осанну государству рабочих и крестьян.

Архивы стремительно коммерциализировались. По сходной цене можно было заказать подборку материалов на любую тему. Помню, я привел к заместителю директора архива ЦК КПСС на Ильинке двух американцев, желавших написать книгу о поддержке Москвой леворадикальных партизанских движений Латинской Америки. «Нет проблем», — сказал хозяин кабинета и назвал сумму, по нынешним временам смехотворную.

Никогда прежде общение с государственными чиновниками, жрецами доселе самых закрытых учреждений, не доставляло мне такого удовольствия — симпатичные, приветливые, милые люди. Еще вчера до них было не дозвониться. Сегодня они угощали чаем с печеньем и изъявляли полнейшую готовность поделиться любой интересующей журналиста информацией. Страной правил закон о печати.

Увы, это время быстро кончилось. Уже к концу 1991 г. режим секретности в архивах был восстановлен практически в прежнем объеме. Лубянка пришла в себя. Вежливые чиновники опять превратились в хамов.

Но кое-что мы все-таки успели сделать.

В архиве Главного управления конвойных войск я нашел списки военнопленных англичан и бельгийцев, содержавшихся в Козельском лагере вместе с поляками, — они бежали в Польшу из немецкого плена и угодили в советский. Английский историк лорд Николас Бетелл, которому я передал список, нашел одного из англичан. Тот рассказал, что они вернулись домой только после того, как началась война Сталина с Гитлером, причем английские командиры взяли с них подписку о неразглашении факта пребывания в советском плену.

Нашлись документы об американских пилотах, членах экипажа бомбардировщика В-25, который участвовал в знаменитом налете Джимми Дулиттла на Токио в апреле 1942 года. Эскадрилья поднялась в воздух с авианосца «Хорнет», но самолет майора Эдварда Йорка на обратном пути потерял много топлива и совершил вынужденную посадку близ Владивостока. Хотя США и СССР были союзниками, Йорк и четверо членов его экипажа были интернированы и никогда больше не увидели свою машину. После моей публикации Национальный музей авиации и космических исследований пытался найти самолет Йорка, но не нашел.

Мои поиски в архивах иногда приводили к неожиданным результатам в смежных темах. Так, например, мой интерес к «процессу шестнадцати» (суд над командующим Армии Крайовой генералом Леопольдом Окулицким и руководителями Польского подпольного государства в Москве в июне 1945 г.) оказался важен для исследователей судьбы Рауля Валленберга. Когда генеральный консул Польши в Москве Михал Журавский дал мне посмотреть только что полученную им копию тюремного дела Окулицкого, который был приговорен к 10 годам лишения свободы и уже после оглашения приговора скончался на операционном столе в больнице Бутырской тюрьмы, где его оперировали по поводу подозрительного диагноза «заворот кишок», я ахнул: под заключением о смерти стояла подпись начальника санчасти внутренней тюрьмы МГБ Смольцова. Именно этот человек подписал рапорт на имя министра госбезопасности Абакумова о смерти Валленберга от инфаркта миокарда 17 июля 1947 года. Рапорт этот, появившийся на свет в 1957 г., спустя годы после кончины как автора, так и адресата, всегда внушал независимым исследователям сильнейшие подозрения. Годами нам твердили, что ни одного другого автографа Смольцова не сохранилось. И вот нашелся образчик подписи того же лица, сделанный совершенно другой рукой. Рапорт Смольцова оказался несомненной фальшивкой и был изъят из корпуса документов по делу Валленберга.

25 декабря 1991 г., на западное Рождество, президент Горбачев объявил согражданам, что уходит со своего поста. Он сказал, что делает это «по принципиальным соображениям». Но на самом деле у него теперь просто не было государства, которым можно было бы руководить. «Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно было предположить, — говорил президент-



реформатор с некоторой обидой в голосе. — Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это — самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, потому что еще не научились пользоваться свободой».

«Не научились пользоваться свободой». По крайней мере он и себя включил в число не научившихся. И на том спасибо.

Почему Горбачев так и не решился до конца открыть правду о Катыни?

Не исключено, что правы те, кто считает, что правда оказалась слишком чудовищной. Конечно, в истории Европы были и Варфоломеевская ночь, и крестовые походы, и инквизиция... Но из близких по времени событий массовых убийств, сопоставимых с катынским, нет. Ленский расстрел — 270 убитых, Кровавое воскресенье — тысячи, кишиневский погром 1903 г., всколыхнувший мировую общественность — 49 трупов.

Была Катастрофа еврейского народа, но она была уже после Катыни.

Существует гипотеза, что Горбачев предвидел, что катынское признание приведет к тектоническим сдвигам в общественном сознании. «Ну что может быть страшнее для КПСС признания того, что с благословения некоторых ее лидеров гибли тысячи соотечественников, коммунистов и беспартийных, граждан многих зарубежных стран, о чем мир уже знал, — пишет Валерий Болдин. — Зачем же теперь архитектору перестройки и обновления вдруг понадобилось утаивать это преступное убийство? Думаю об этом и не нахожу ответа».

Но разница есть, и очень существенная. Разоблачения хрущевской поры касались только лично Сталина и его подручных, исказивших «ленинские нормы». Дальше узкой группы лиц, в основном уже покойников, Хрущев не пошел. Виноват был «культ личности», жажда личной власти, маниакальная подозрительность вождя. Об осуждении партии, государственного строя, социализма не было и речи. Комиссия по реабилитации под председательством Николая Шверника уже в 1962 г. прекратила свою деятельность. С тех пор масштабного и юридически значимого возвращения к этой теме на уровне высшего политического руководства страны не было.

На посту генерального секретаря Михаил Горбачев ни разу не высказывался о Сталине отрицательно. В мае 1985 г. в докладе по случаю 50-летия окончания войны он отметил заслуги Сталина как организатора победы. Прекрасно помню, как резанула слух эта фраза, — мы надеялись услышать от нового молодого генсека совсем другое.

Да, при нем открылись шлюзы, публиковались материалы об ужасах сталинизма. Но разоблачения системы и идеологии в этих публикациях все же не было. На меня эта новая «оттепель» особого впечатления не произвела — новыми были лишь детали, а суть я знал и прежде, причем в гораздо более жестких формулировках: при позднем Брежневеве книги самиздата и русских зарубежных издательств имели достаточно широкое хождение, за их чтение уже не сажали. Фигур, равновеликих Солженицыну, среди «прорабов перестройки» не было. Публикация «Архипелага» в «Новом мире» началась только в конце 1989 года. Это было действительно событие. Именно после этого я поверил словам о «необратимости перестройки».

Конечно, мы знали, что Горбачев не сталинист. Но сам он только в отставке стал откровенно говорить о Сталине и XX съезде. В феврале 1996 г. «Горбачев-фонд» провел конференцию, посвященную 40-летию XX съезда. В своем вступительном слове бывший президент впервые рассказал о своем восприятии доклада Хрущева о сталинском терроре: «Помню, тогда я работал в комсомоле и принял съезд сразу же — для меня проблемы тут не было. Но когда, будучи заместителем заведующего отделом пропаганды крайкома комсомола, я по поручению Ставропольского крайкома партии поехал в Ново-Александровский район разяснять итоги съезда, секретарь, который меня встретил в райкоме, мой хороший знакомый, сказал: «Я думаю, Михаил Сергеевич, тебя подставили. Мы вот сидим и не знаем, что делать». Спрашиваю: «Почему? Есть же материалы, есть пресса». Он отвечает: «Вот поедешь, послушаешь, что говорят люди, тогда и узнаешь... Не понимают... И не принимают». Он уподобил воздействие съезда «электрическому шоку огромной мощности».

В той же речи он говорил о том, что поставить под сомнение систему, порвать с ней Хрущеву оказалось не под силу: «Хрущев, конечно, был реформатором. Но в его деятельности очень много противоречий. Часть из них связана с сугубо субъективным пониманием происходивших процессов. А часть определялась приверженностью, ангажированностью, включенностью в эту систему. Я это по себе хорошо знаю».

И настойчиво проводил параллель между хрущевской оттепелью и перестройкой: «...новый импульс мы дали перестройкой, пытаюсь соединить социализм с демократией». А далее следует знаменательное признание: «Но многое и не получилось, и, может быть, из-за того, что мы соединяли несоединимое».

Спустя 10 лет он повторил: «Есть органическая связь между перестройкой и XX съездом, и поэтому, наверное, некоторые также считают перестройку актом предательства».

«Соединяли несоединимое»... Признание вины за катынские расстрелы потребовало бы от Горбачева полного разрыва с партией, отказа от иллюзорной веры в возможность реформировать социализм, морального осуждения не отдельных лиц, не преступлений тайной полиции или даже режима, а системы. К такому признанию Горбачев в то время был просто не готов.

Я считаю, за это его можно уважать. Для партократа, ни имевшего никаких внутренних убеждений, не составляло ни малейшего труда превратиться в демократа. А Горбачев мучился. Он не смог.



В своей Нобелевской лекции он сказал: «Невозможно «выпрыгнуть» из собственной тысячелетней истории». А потом в интервью добавил: «Мне кажется, это будет напоминать выпрыгивание из штанов».

Да и все мы не смогли. Помню призывы к всенародному покаянию. Слово это вошло в публицистическую речь после фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние», с превеликими трудами пробивавшегося в прокат. И помню реакцию: мол, каяться должны сталинско-брежневские сатрапы, палачи, а нам, народу, каяться не в чем.

Оно и верно: покаяние — глубоко религиозный акт. В атеистической стране он невозможен, а православные пастыри молчали. Об этом писал в 1933 г., еще до сталинских ужасов, философ Георгий Федотов: «Почему Россия — христианская Россия — забыла о покаянии? Я говорю о покаянии национальном, конечно. Было ли когда-нибудь христианское поколение, христианский народ, который перед лицом исторических катастроф не видел в них карающей руки, не сводил бы счеты со своей совестью? На другой день после татарского погрома русские проповедники и книжники, оплакивая погибшую Русь, обличали ее грехи... Жозеф де Местр видел в революции суд Божий... А в православной России не нашлось пророческого обличающего голоса, который показал бы нашу вину в нашей гибели. Это бесчувствие национальной совести само по себе является самым сильным симптомом болезни».

25 июля 1991 г. в Москве, в своей квартире на Фрунзенской набережной, умер Лазарь Каганович — последний из тех, кто скрепил своим «за» расстрельную записку Берии. Один из самых беспощадных палачей-сталинистов, кровавый вампир, при Хрущеве он был исключен из партии, но к более серьезной ответственности не привлекался, до самой смерти пользовался кремлевской больницей и получал продовольственный кремлевский паек.

В своих мемуарах Горбачев отрицает, что видел документы «особой папки» в 1989 году. Он утверждает, что в папках, которые показал ему тогда Болдин, находилась «документация, подтверждающая версию комиссии академика Бурденко». Записку же Берии с визами Сталина и других членов Политбюро он, по его словам, впервые увидел лишь в декабре 1991 г., накануне встречи с Ельциным, когда готовился сдавать ему дела, причем на ознакомлении Горбачева с этой бумагой будто бы настояли архивисты. «У меня дух перехватило от этой адской бумаги, обрекавшей на гибель сразу тысячи людей», — пишет Горбачев.

Он не просто передал записку Ельцину, но прочел ему ее вслух в присутствии Александра Яковлева, что само по себе свидетельствует об исключительном значении, которое придавал бумаге Горбачев: архивный документ передавался новому главе государства вместе с ядерной кнопкой. Такова была его взрывная сила. Президент России тотчас согласился с тем, что документ следует передать полякам.

« — Но теперь, — сказал я, — это уже твоя миссия, Борис Николаевич».

Почему Ельцин не исполнил эту миссию при первой же возможности? На этот вопрос Горбачев дает удивительно мелкий ответ: «Сейчас уже ясно, что тяжелейшую драму в польско-советских отношениях пытались использовать, чтобы лишний раз бросить грязь в Горбачева».

Александр Яковлев, очевидец встречи Горбачева и Ельцина в Кремле (которая, кстати, продолжалась более восьми часов) описывает ее иначе. В его рассказе Горбачев вслух записку не зачитывает, а просто передает конверт с документами и говорит, что надо посоветоваться, как быть с этими бумагами: «Боюсь, могут возникнуть международные осложнения. Впрочем, тебе решать». Ельцин, продолжает Яковлев, «почитал и согласился, что об этом надо серьезно подумать».

«Я был потрясен... — пишет мемуарист. — Михаил Сергеевич передавал эти документы с поразительным спокойствием, как если бы я никогда не обращался к нему с просьбой дать поручение своему архиву еще и еще раз поискать документы. В растерянности я смотрел на Горбачева, но не увидел какого-либо смущения. Такова жизнь».

Борис Ельцин задумался надолго. Он не передал Польше документы «особой папки» ни тогда же, в декабре, ни в мае 1992 г., когда в Москву с визитом приезжал Лех Валенса. Я помню этот визит, во время которого общине московских католиков был наконец передан костел Непорочного зачатия Девы Марии, построенный на пожертвования паствы, но национализированный советской властью; я помню и напряженное ожидание. В том, что документы существуют и что Ельцин знает об их существовании, сомнений не было. Но дело было даже не в документах, а в признании.

Одна моя знакомая, большая поклонница Ельцина (у него вообще, как у оперного тенора, было много поклонниц среди одиноких дам балзаковского возраста), называла его «раскайвшимся грешником». Он и впрямь похож на Савла, обратившегося в Павла. В отличие от Горбачева он решительно порвал с КПСС, президентским указом распустил ее на территории России. Уходя на покой, он попросил прощения у народа. Он «нашел» в президентском архиве оригиналы секретных протоколов и написал по этому поводу:

«Сколько слов было сказано по поводу лживости буржуазной пропаганды, сочинившей секретные протоколы пакта Молотова—Риббентропа?! Сколько раз приходилось пропагандистскому аппарату говорить, что это всё проiski и фальшивки?! Хотя любому здравомыслящему человеку было ясно, что уже нельзя отнекиваться от того, что давно известно всем. Прошло время, и вот мы признали, да, секретные протоколы существуют, но сколько же уважения и авторитета мы потеряли из-за такой твердолобости».

Так что же мешало ему признать и извиниться за Катынь? Неужели прав Горбачев — нет, не в том, что Катынь стала для Ельцина поводом лишний раз «бросить грязь» в предшественника, а в том, что Ельцин выбирал удачный политический момент? Мне не верится.



Со слов Олега Попцова, который был близок к Ельцину, можно судить о его реакции на переданные Горбачевым документы: «Впоследствии он рассказывал о брезгливом чувстве, которое пережил в тот момент, о своем нежелании не только вникать, но даже прикасаться к этим свидетельствам сотворения порока, насилия, искалеченных судеб и судеб целых народов».

Знаю по себе: подлинный архивный документ таит в себе страшную силу, огромной мощности энергетический заряд. Нежелание прикасаться к бумагам вполне понятно.

В марте 1992 г. я пришел в МИД брать интервью у министра иностранных дел Андрея Козырева, к тому моменту просидевшего в министерском кресле чуть больше трех месяцев. Едва ли не первым, что я услышал от него, были сожаления по поводу распада Советского Союза. К тому времени ностальгия по СССР уже вошла в политическую моду.

Господи, думал я, что же это такое? Что же такое эта империя, где никто, включая правителей, не был свободен, которую ненавидели и боялись, из которой бежали при малейшей возможности, которая воздвигла свою мощь на костях собственных подданных, но все равно осталась «Верхней Вольтой с ракетами», империя, о которой вчерашние рабы не могут говорить без трагического надрыва?..

Во время визита Валенса в Россию 21-23 мая 1992 г. шаг вперед все же был сделан: в совместном заявлении двух президентов говорится о преступлениях «сталинского режима» и «антигуманной сущности тоталитаризма». Горбачев в свое время решился обвинить лишь головку НКВД: «Берию, Меркулова и их подручных».

Следующим шагом стало «дело КПСС» в Конституционном суде, куда обратились вожди упраздненной Ельцинской партии с просьбой признать неконституционными указы президента о роспуске КПСС и КП РСФСР и о конфискации их имущества. Эксперты президентской стороны рассчитывали превратить судебные слушания в новый Нюрнбергский процесс, который признает КПСС преступной организацией и тем самым избавит Россию от «призрака коммунизма». Позицию президента должны были подкрепить архивные документы, иллюстрирующие механизм принятия и исполнения решений и тем самым доказывающие, что КПСС подменила собой государственный аппарат.

Отбором документов для представления в Конституционный суд занималась специальная комиссия по архивам при президенте РФ. В качестве эксперта из Лондона был приглашен правозащитник Владимир Буковский, предлагавший окружению Ельцина устроить суд над КПСС еще в августе 1991 года. «Я сказал им очень простую и практическую вещь о том, что коммунизм сегодня как раненый зверь и что подранка нужно добить: «Если вы его не добьете сейчас, через несколько месяцев он оправится и бросится вам на горло», — рассказывал Буковский на пресс-конференции в Варшаве в марте 1998 года. По словам Буковского, с ним были согласны все, кроме Ельцина: «Он не объяснял, почему, но было ясно. Он понимал, что такой процесс, однажды начавшись, обязательно заденет и таких людей, как он. Во всяком случае такие люди не смогут остаться лидерами после этого процесса».

Но оказавшись в роли ответчика, Ельцин, по версии Буковского, испугался: «Он понял, что может проиграть это дело, потому что большинство судей симпатизировало коммунистам».

Буковский не получил доступа к самому закрытому архиву — президентскому. Там работали только особо доверенные должностные лица, которые и вскрыли в сентябре «пакет № 1», где находились документы, переданные Горбачевым Ельцину, а тот вернул их на хранение. О находке доложили президенту, который тотчас распорядился вручить их полякам. Главный архивист РФ Рудольф Пихоя был назначен по этому случаю специальным посланником президента России. Он вылетел в Варшаву 14 октября и передал документы лично президенту Валенсе. Второй комплект тех же документов был представлен в Конституционный суд.

Дело КПСС слушалось с перерывами с 26 мая по 30 ноября 1992 года. Сейчас уже можно с полной определенностью сказать: та масштабная задача, какую поставили перед собой советники президента, оказалась им не по плечу. И не потому, что они были плохими юристами. Слишком высок был накал политических страстей, слишком тяжело многим давалось отречение от недавнего прошлого. Не хватало времени, опыта, не было прецедентов, события эпохи сталинизма трудно было рассматривать с сугубо академических, правовых позиций. Зал судебных заседаний стал ареной идеологического столкновения. Судьи не смогли абстрагироваться от своих политических симпатий и антипатий. Судья Анатолий Кононов занимал радикальную позицию и настаивал на конституционности роспуска КПСС. Судья Виктор Лучин голосовал против. Оба написали особые мнения. Председатель КС Валерий Зорькин балансировал между двумя крайностями. («В моей профессии человек на компромиссы обречен», — сказал он в недавнем интервью.)

Михаил Горбачев в суд не явился. На пресс-конференции 17 августа он заявил, что, даже если его приведут в суд в наручниках, он не скажет там ни единого слова, а позднее добавил, что на процессе КПСС его хотят «дискредитировать или использовать». В ответ суд наказал его штрафом в размере 100 рублей. По просьбе суда Горбачеву был воспрещен выезд из России вплоть до дачи показаний.

В итоге суд принял половинчатое решение: он признал неконституционными руководящие структуры партии, но сохранил первичные организации, поскольку они, по мнению суда, не нарушали статус общественных организаций. Как писал судья Кононов, это постановление «одновременно устраивало и не устраивало обе стороны именно в силу недоговоренности, неопределенности и возможности различного толкования». Исполнять решение КС никто не стал. Коммунистическая партия благополучно возродилась.



Катынское дело в рамках «дела КПСС» рассматривалось поверхностно. Документы «особой папки» в экспертное заключение, составленное представителями президента, включены не были. Там сказано лишь, что «есть веские, хотя и косвенные основания полагать, что расстрел польских офицеров был санкционирован Политбюро ЦК ВКП(б) на заседании 05.03.1940 г.». Обновленная редакция заключения готовилась к судебному слушанию 7 июля, а «пакет №1» был обнаружен в президентском архиве 24 сентября. Откуда авторам заключения стала известна не только точная дата, но и сам факт существования протокола Политбюро, не упоминающийся ни в каких опубликованных ранее документах? Вполне очевидно, что эта осведомленность — результат утечки, которую допустило одно из должностных лиц, знавших о существовании протокола до его повторного обнаружения в архиве президента. 14 октября президентская сторона ходатайствовала о приобщении к делу документов «особой папки». 22 октября суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать.

Представители КПСС поставили под сомнение аутентичность бумаг. Представлявший документы Сергей Шахрай был не готов к такому повороту. Как писал впоследствии эксперт Юрий Слободкин, «для представителей президентской стороны обвинение в фальсификации документов явилось настоящим ударом. Они старались не показывать растерянности и даже пообещали представить «подлинные архивные документы», но, разумеется, никаких подлинников никому и никогда не представляли». К аргументации Слободкина мы еще вернемся.

Желая помочь представителям КПСС, бывший сотрудник ЦК КПСС Валентин Александров направил им письмо, в котором изложил по памяти все, что ему по долгу службы стало известно по катынскому делу. Поскольку он был помощником секретаря ЦК Медведева, а затем Фалина, через его руки прошли все бумаги, связанные с подготовкой решения о передаче катынских документов Ярузельскому в апреле 1990 г., — вся закрытая служебная переписка начиная с осени 1987 года. Александров особо подчеркивает, что в 1988-1989 гг. «остро этот вопрос поляками не ставился» (хотя и «выражалась неудовлетворенность крайне медленным освещением «белых пятен» истории»), — в его версии, инициаторами признания правды о Катыни были высокопоставленные сотрудники ЦК. Александров несколько не сомневается в виновности советской стороны. По его словам, сокрытие истины об этом преступлении было делом рук не партии, а Горбачева и его ближайшего окружения, за действия которых партия не должна нести ответственность. «Утаивание документов, — писал Александров, — стало проявлением противопартийных действий со стороны горстки людей, поставивших себя над, а следовательно, и вне КПСС».

Нетрудно увидеть в этих обвинениях логику Хрущева, который тоже обвинял Сталина и горстку его клевретов, но не партию. Однако тактика защиты, предложенная Александровым, вождям КПСС не понравилась, его записка Конституционному суду не представлялась.

В тексте постановления КС по «делу КПСС» Катынь не фигурирует. В особом мнении судьи Кононова Катынь упоминается в одной фразе, но зато эта фраза содержит правовую квалификацию расстрелов: «Как военное преступление можно расценить уничтожение по постановлению Политбюро ЦК КПСС тысяч польских военнопленных в Катыни и других местах». Это единственный в катынском деле судебный документ.

После публикации ключевых документов встал вопрос о юридической ответственности виновных. На него должна была ответить Главная военная прокуратура. Во время своего официального визита в Польшу в августе 1993 г. Ельцин обещал: «В атмосфере взаимопонимания и доброй воли были выяснены обстоятельства катынского преступления, виновники которого будут наказаны».

Действительно, в это время следственные действия шли полным ходом. По существу, следователи ГВП выполнили ту задачу, от исполнения которой уклонился Конституционный суд. Но для этого им пришлось проделать колоссальный объем работы — не только установить обстоятельства расстрелов, но и вскрыть технологию последующих фальсификаций. Результаты этой работы поражают своей скрупулезностью, профессионализмом, добросовестностью и юридической основательностью.

Главная военная прокуратура открыла дело еще в сентябре 1990 года. Следственную группу возглавил подполковник, впоследствии генерал-майор юстиции Александр Третьцкий. Сейчас уже очевидно, что, принимая решение о возбуждении уголовного дела, главный военный прокурор СССР Александр Катусев ориентировался на политическое решение Горбачева о признании виновными руководителей НКВД. Дело нужно было «оформить», то есть придать ему юридически законченную форму, и закрыть за смертью обвиняемых. От группы Третьцкого никто не ожидал столь доскональных следственных действий.

Но специфика дела была такова, что для решения вопросов о юридической квалификации катынского преступления, о подсудности исполнителей, о правовом статусе жертв потребовалось изучить международно-правовой режим, при котором совершались расстрелы, процессуальную сторону репрессий и даже систему кремлевского делопроизводства. Возможно, это было первое юридическое состоятельное комплексное исследование механизма сталинского террора.

На ход расследования самым непосредственным образом влияла общественно-политическая атмосфера в стране. Зачастую одни и те же должностные лица то способствовали следственным действиям, то препятствовали им. Самый яркий пример такого рода — тогдашний начальник управления КГБ по Тверской области Лаконцев. 19 августа 1991 г., едва получив известие о путче в Москве, он потребовал от следственной группы прекратить раскопки массовых



захоронений в Медном и заявил, что не гарантирует безопасность экспертов. Распоряжение свернуть работы получили и группа, работавшая на раскопках в Харькове. А спустя несколько дней, когда путч окончательно провалился, Лаконцев приехал на место раскопок и стал убеждать следователей в огромной важности катынского дела.

Я встречался с подполковником Третьеком и его подчиненными по их приглашению в здании ГВП, предоставил им всех свидетелей и документы, которыми располагал сам. По их собственному признанию, именно из первого издания моей книги они узнали о существовании захоронения в Медном.

Чтобы квалифицировать состав преступления, следствию необходимо было прежде всего установить, являлись ли польские узники на территории СССР военнопленными. Логика подсказывает, что для этого Советский Союз и Польша должны были находиться в сентябре 1939 г. в состоянии войны. Но войну они друг другу не объявляли. В ноте, которую заместитель наркома иностранных дел Владимир Потемкин пытался вручить польскому послу ранним утром 17 сентября, говорилось, что «Польское государство и его правительство фактически перестали существовать». Посол Вацлав Гжибовский принять ноту отказался, заявив, что польское государство существует и оказывает сопротивление.

Если польское государство перестало существовать, то кому была адресована нота? В ней ничего не было сказано о состоянии войны, а советское вторжение мотивировалось необходимостью защиты «единокровных» братьев — украинцев и белорусов. Более того, главнокомандующий Войска Польского маршал Рыдз-Смиглы в тот же день издал приказ не вести боевых действий против советских войск и уходить в Румынию и Венгрию «кратчайшими путями». Однако в приказах советских военачальников говорится о «скрытном сосредоточении», «молниеносных» и «мощных ударах», «решительном наступлении» и «разгроме противостоящих сил противника». Войскам приказывалось не допустить ухода польских частей в Румынию и Венгрию. В то же время Потемкин, убеждая посла Гжибовского принять ноту и передать ее по назначению, говорил, что тем самым, «быть может, были бы предупреждены вооруженные столкновения и напрасные жертвы», то есть предлагал капитулировать без боя. Вряд ли поддается логическому объяснению и позиция посла: если правительство Польши существует, он обязан передать ему советскую ноту. Всего вероятнее, посол, поднятый с постели в два часа ночи, просто растерялся и был слишком взволнован («посол, от волнения с трудом выговаривавший слова...» — записал в своем служебном дневнике Потемкин); тем не менее он совершенно точно определил происходящее как «четвертый раздел и уничтожение Польши» (выписка из дневника Потемкина, направленная Сталину).

По окончании польской кампании фразеология советской пропаганды приняла еще более уничижительный, лживый и наглый характер. В приказе от 7 ноября 1939 г. нарком обороны Клим Ворошилов пишет о том, что «Польское государство при первом же серьезном военном столкновении разлетелось, как старая и сгнившая телега... а его правительство и верховное командование польской армии позорно сбежало за границу».

Вполне очевидно, для чего нужны эти упорные утверждения о том, что Польша как государство прекратила существование, — тем самым снималась необходимость соблюдения договорных обязательств по отношению к ней.

Следователи Главной военной прокуратуры приняли к сведению содержание секретных протоколов к пакту Риббентропа—Молотова и факт признания их недействительными с момента подписания. Таким образом, советское вторжение в Польшу было лишено международно-правовых оснований, а с другой стороны, нарушало обязательства СССР по отношению к Польше. (Советско-польские отношения того времени регулировались Рижским мирным договором от 18 марта 1921 г., договором о ненападении от 25 июля 1932 г. и Конвенцией об определении агрессии, подписанной в июле 1933 года. Эти документы гарантировали суверенитет, неприкосновенность границ и невмешательство в дела друг друга.)

Между советскими и польскими войсками были боестолкновения, иногда ожесточенные. Если не состояние войны, то вооруженный конфликт бесспорно имел место, а значит, правомерно говорить о военнопленных. В советском проекте «Положения о военнопленных» от 19 сентября 1939 г. сказано: «Военнопленными признаются лица, принадлежащие к составу вооруженных сил государств, находящихся в состоянии войны с СССР, захваченные при военных действиях, а также граждане этих государств, интернированные на территории СССР». Иными словами, советское правительство считало свои действия именно войной.

Военнопленные находились под защитой международных конвенций. Правительство большевиков в 1917 г., как известно, объявило недействительными все международные обязательства царского и Временного правительств. Однако уже в 1918 г., находясь в кольце фронтов, оно обязалось соблюдать Женевскую конвенцию 1864 г. во всех ее позднейших редакциях, включая и Гаагскую (1907) «О законах и обычаях сухопутной войны» (принятую, к слову сказать, по инициативе Николая II и разработанную выдающимся русским правоведом-международником Федором Мартенсом). Эти обязательства были грубо нарушены, мало того — в своих инструкциях и приказах руководители управления по делам военнопленных НКВД СССР указывали подчиненным, что в обращении с военнопленными следует исполнять не требования конвенции, а ведомственные директивы.

Прежде всего, согласно конвенции, военнопленные должны быть распушены по домам по окончании военных действий. Они не должны использоваться на физических работах. Привлекать к уголовной ответственности их можно лишь за конкретные уголовные преступления, а не за то, что они состояли в вооруженных силах противника, служили в полиции, в судах или государственных учреждениях. Между тем польских узников судили особыми



совещаниями «за активную борьбу против рабочего класса», причем по Уголовному кодексу РСФСР, как будто, будучи гражданами Польши, они обязаны были соблюдать советские законы. Основную же массу расстрелянных приговорили без суда и следствия к смерти как «закоренелых, неисправимых врагов советской власти».

Все это вместе взятое, наряду с уровнем, на котором было принято решение, и процедурой его принятия, а также способом его исполнения заставило следователей в дальнейшем переqualифицировать состав преступления с превышения власти на преступление против человечности.

Группа Третьяковского испытывала острый дефицит документальных материалов из секретных архивных фондов. Аппарат КГБ/МБ/ФСБ после признания Горбачева перестал отрицать вину НКВД, но по-прежнему отвечал на все запросы, что документов о Катыни в его архивах нет. После публикации известной записки Шелепина на имя Хрущева с предложением уничтожить учетные дела расстрелянных поляков Лубянка стала ссылаться на нее как на бесспорное доказательство уничтожения. Аналогично ведомство вело себя и в отношении свидетелей из числа бывших сотрудников НКВД. В ряде случаев местожительство таких свидетелей военные следователи установили с помощью обыкновенного адресного бюро, куда может обратиться любой желающий. Но часто следствие просто не знало имен возможных свидетелей — ему требовались списки личного состава тех или иных подразделений. Но и списки получить не удавалось.

В этих обстоятельствах следственная группа решила изучить материалы комиссии Бурденко, которая в январе 1944 г. обвинила в катынских расстрелах немцев. В свое время я видел часть этих материалов. Вкупе с рабочими документами советской делегации в Нюрнберге они оставляют тягостное впечатление грубой и наглой фальсификации. Некоторые доказательства лжи комиссии Бурденко я нашел, о других догадался. Следственная бригада ГВП располагала полным корпусом этих документов и улик, установила и допросила свидетелей; в итоге мои выводы и предположения дополнены и подтверждены, но теперь это уже не журналистика, а уголовное дело. Скрупулезность следователей, их терпеливая настойчивость и высочайшая квалификация внушают мне глубокое уважение.

Прежде всего выяснилось, что задолго до комиссии Бурденко в Катынском лесу было проведено так называемое «предварительное расследование», а точнее — уничтожение подлинных свидетельств и фабрикация ложных. Как явствует из справки о результатах этой деятельности, подписанной наркомом госбезопасности Меркуловым и заместителем министра внутренних дел Кругловым, в Катыни с 5 октября 1943 по 10 января 1944 г. работала «комиссия соответствующих органов». Текст справки Меркулова—Круглова дословно совпадает с текстом сообщения комиссии Бурденко — вплоть до мелких неточностей и разночтений в именах свидетелей.

В деле имеется также опись документов и предметов, обнаруженных экспертами комиссии Бурденко при вскрытии могил. Самый поздний документ — конверт с почтовым штемпелем от 14 мая 1940 года. Однако в сообщении комиссии Бурденко фигурируют девять документов, якобы найденные на шести трупах и датированные ноябрем 1940 — июнем 1941 года. [В действительности восемь из этих девяти документов фигурируют и в описи. — *Прим. ред.*] Документы эти никогда и никому, включая Нюрнбергский трибунал, не предъявлялись и факсимильно не публиковались. Как установила следственная группа ГВП, эти девять документов, которые она изучила в оригиналах, сфабрикованы.

Так, например, на одном из трупов комиссией Бурденко найдена неотправленная почтовая открытка, написанная Станиславом Кучинским и датированная 20 июня 1941 года. В каждом из трех лагерей был свой Станислав Кучинский, но того, который написал открытку, звали «Кучинский — Искандер Бей». Он не был расстрелян: по распоряжению Берии от 16 февраля 1940 г. он был переведен в Москву. Его открытка, которую он написал во внутренней тюрьме НКВД, была подброшена в могилу «соответствующими органами», проводившими «предварительное расследование».

И так со всеми девятью «документами». Крайне сомнительным оказался и блокнот смоленского бургомистра Меньшагина, на который ссылается комиссия Бурденко и о котором сказано, что он прошел «графологическую экспертизу». Военные следователи выяснили, что экспертиза установила лишь идентичность образцов почерка с записями в блокноте, но сделаны ли эти образцы рукой Меньшагина — неизвестно.

Обильно присутствует в документах мой старый знакомый, ныне покойный ветеран Лубянки Леонид Райхман, в 1940-м — заместитель начальника контрразведывательного управления НКВД. Он-то как раз и руководил «комиссией соответствующих органов» в Катынском лесу. Как показал свидетель Козлов, входивший в состав этой оперативной группы, Райхман сразу же заявил группе, что расстреляли поляков немцы и что теперь требуется найти доказательства их вины. Именно Райхман «нашел» блокнот Меньшагина и отбирал свидетелей.

Местным жителям, особенно тем, кто дал немцам показания против большевиков, пришлось, конечно, худо. Один из них, Иван Андреев, как установило следствие, был осужден в октябре 1949 г. Особым совещанием к лишению свободы на срок 25 лет за измену родине и пособничество оккупантам и освобожден в порядке реабилитации в феврале 1956 года. Дело оказалось полностью сфабрикованным. На допросах его ни разу не спросили о Катыни, а когда он затронул эту тему по собственной инициативе, не проявили к ней ни малейшего интереса. О том, что Андреев «клеветал на органы», участвуя в немецкой «провокации», показывали свидетели по его делу, но следователи упорно уходили от этого сюжета. Андрееву показания немецкой комиссии не вменялись — эта тема совершенно не затрагивалась в обвинительном заключении.



Еще один свидетель, Парфен Киселев, работал сторожем на даче НКВД в Козьих горах. Он дал подробные показания немцам, а с приходом советских войск был арестован вместе с сыном. Обоих обвинили в сотрудничестве с оккупантами. На первых же допросах Киселев-старший подтвердил, что стал свидетелем добровольно и не только повторил то, что рассказывал немцам, но и добавил новые детали. Однако вскоре Парфен Киселев изменил свои показания на противоположные: теперь он утверждал, что нацисты пытками выбили из него рассказ о причастности к расстрелам НКВД, а на самом деле расстреляли поляков именно они, немцы. В такой редакции Киселев дал показания комиссии Бурденко, а затем выступил на пресс-конференции для иностранных журналистов. В сообщении комиссии Бурденко подчеркивается, что в Гестапо Киселеву причинили увечья — у него травма правого плеча, в результате отнялась рука. Может, не в Гестапо покалечили ему руку, а в другом, советском застенке?

Под страхом тяжелого наказания согласился лжесвидетельствовать профессор физики Ефимов. Ему было предъявлено обвинение в измене родине по статье, предусматривающей смертную казнь. Он провел за решеткой три месяца, после чего был освобожден, а его дело закрыто за отсутствием состава преступления. Однако предварительно Ефимов дал подписку о неразглашении ставших ему известными сведений, составляющих государственную тайну. После этого он дал показания о своем разговоре с вице-бургомистром Смоленска Базилевским, из которого следовало, что виновники катынских расстрелов — немцы.

В январе 1991 г. прокуроры ГВП допросили еще одного свидетеля комиссии Бурденко — Алексееву. Она работала уборщицей в немецких казармах, расположенных в Катинском лесу, и в 1944 г. ярко живописала картину расстрелов — вплоть до того, что солдаты возвращались после экзекуций забрызганные кровью. В 1991 г. Алексеева заявила, что о расстрелах ничего не знает, никаких выстрелов не слышала и крови не видела, а на немцев работала, чтобы не угнали на работу в Германию. Но когда ей показали протоколы ее допросов 1943-1944 гг., она испугалась и полностью их подтвердила.

Аналогичным образом, как сказано в этой книге и подтверждено Главной военной прокуратурой, обрабатывали и готовили к Нюрнбергскому процессу свидетелей-иностранцев. В этой работе, как свидетельствуют документы, активнейшее участие принимал Леонид Райхман. А ведь отрицал при наших личных беседах, что имел хоть какое-то отношение к Нюрнбергу!

Обнаружились и еще более интересные обстоятельства. Свидетель Михай Кривоцерцев рассказывал комиссии Бурденко, что собственными глазами видел в августе 1941 г. грузовики с немецкими солдатами, направлявшиеся в Катинский лес; туда же двигались колонны пленных поляков, а потом из леса слышались выстрелы. Он нашел в 1943 году вблизи захоронения, вскрытого немцами, три стреляные гильзы фирмы Геко калибра 7.65, которые, однако, не отдал немцам, а передал «соответствующим органам». На допросе сотрудниками ГВП Кривоцерцев полностью изменил показания и рассказал совсем другую историю: о том, как летом 1940 г. видел на станции Гнездово столыпинские вагоны с пленными, как к вагонам вплотную подгоняли автобусы, а потом в поселке говорили, что поляков хотели организовать в колхоз, но они отказались и были расстреляны. Что касается комиссии Бурденко, то в ней, по словам Кривоцерцева, его никто ни о чем не спрашивал — дали подписать протокол и отпустили с Богом.

Однако отпустили его не совсем: за пять-шесть лет до допроса группой Третьякова к нему, оказывается, приходил сотрудник КГБ, который напомнил ему прежние показания 1943 г. и предупредил, что он должен их в случае надобности подтвердить. Визит этот, судя по всему, имел место либо в андроповско-черненкоовские годы, либо в самом начале правления Горбачева. Что означал этот обход свидетелей? Неужели Лубянка тогда готовилась публично повторить версию Бурденко? Но по какой причине, в связи с чем?

А может быть, не пять-шесть, а девять-десять лет назад? Как явствует из записи в архивном формуляре «пакета №1», 15 апреля 1981 г. его просмотрел и вернул председатель КГБ и член Политбюро Юрий Андропов. Впервые после 1965 г. член высшего советского ареопага лично заинтересовался катынскими бумагами. Зачем ему это понадобилось?

Советских вождей в 1981 г. страшно тревожили польские события. В первых числах апреля Андропов и министр обороны Устинов встречались с членами польского руководства в вагоне поезда в Бресте. 9 апреля Андропов докладывал об этом разговоре на Политбюро. Он постоянно искал аргументы в напряженном диалоге с Варшавой, говорил о мнимых немецких претензиях на Силезию и Гданьск. 15 апреля Брежнев принимал в Кремле первого секретаря ЦК ПОРП Станислава Каню. Именно перед этой встречей Андропов и просмотрел «особую папку».

Став в 1981 г. генеральным секретарем, Андропов продолжал интересоваться катынским делом. Ходили слухи, что он завел собственное досье по Катыни. Когда Валентин Фалин — дипломат-германист, работавший тогда в ЦК КПСС, — предложил ему провести архивный поиск, собрать все имеющиеся данные и проанализировать их, Андропов дал ему поручение «подготовить предложения, как дальше вести эту проблему и, в частности, как реагировать на возможные польские обращения». Фалин утверждает, что речь шла о «мобилизации данных, которые при необходимости могут быть обнародованы».

Обращение Фалина к КГБ дало все тот же обычный результат: заместитель председателя генерал-полковник Владимир Пирожков принес ему текст сообщения комиссии Бурденко и немецкую «белую книгу» — секретную для обычных граждан, но доступную Фалину. Когда Фалин проявил настойчивость, Пирожков заявил ему, что в КГБ хранится совершенно секретное досье по Катыни, запечатанное в пакет с надписью «Вскрытию не подле-



жит». «Вы предлагаете обратиться к его содержанию?» — спросил генерал, давая понять, что вопрос закрыт. Фалин ступешался, сказал, что просит помощи «в пределах полномочий» Пирожкова. Спустя несколько дней секретарь ЦК, непосредственный начальник Фалина Михаил Зимянин бросил ему гневное замечание: «Не слишком ли ты глубоко хватил по Катыни? Держись в рамках». По словам Фалина, чрезмерный интерес к катынской теме стал одной из двух причин его удаления из ЦК в газету «Известия». (Второй было, опять-таки с его слов, его отношение к вторжению в Афганистан.)

Фалин полагает, что Андропов воспринял его действия как подспудную интригу, считал, что «проклятая история» косвенно бьет по нему как бывшему шефу КГБ. Вполне вероятно, что он был знаком с содержанием досье, о котором говорил Пирожков, или даже был его составителем. Речь могла идти, конечно же, в первую очередь о постановлении тройки, на которую Политбюро возложило вынесение смертных приговоров польским военнопленным, — Меркулов, Кобулов, Баштаков. Эти документы не обнаружены по сей день. А быть может, обнаружены, но остаются секретными.

Неужели странный визит сотрудника КГБ к Михею Кривоцерцеву — отголосок этого эпизода? Что если Пирожков принял меры на случай, если ЦК начнет всерьез интересоваться Катынью? Мы ступаем здесь на слишком зыбкую почву и можем лишь гадать. Катынь настолько прочно вросла в плоть России, что порой дает о себе знать в самых неожиданных обстоятельствах.

Отношение к военнопленным противника — это оборотная сторона отношения к своим гражданам, оказавшимся в плену. Непризнание за ними правового статуса — наследие Сталина, который в 1941 г. на запрос Международного Комитета Красного Креста, собирается ли Советский Союз выполнять требования Женевской конвенции, ответил: «Русских в плену нет. Русский солдат сражается до конца. Если он выбирает плен, он автоматически перестает быть русским».

После войны насильственно репатриированные военнопленные и остарбайтеры почти без исключений отправлялись в ГУЛАГ. Лишь в 1956 г. к бывшим военнопленным был применен указ «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Через 11 лет после войны государство не реабилитировало своих солдат, имевших несчастье попасть в плен, а простило их, оставив виновными.

Отношение советской власти к плену как к предательству вынуждало пленников афганской войны не стремиться на родину, а искать убежища на Западе. Одного из них, Николая Рыжкова, получившего убежище в США, в 1988 г. уговорили вернуться в Советский Союз; заверения в том, что его не накажут, дал советский посол в Вашингтоне Анатолий Добрынин. Немедленно по прибытии в СССР, прямо в аэропорту «Шереметьево», он был арестован, судим и приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима. По последним сведениям, 273 солдата афганской войны числятся пропавшими без вести. Им пошел уже пятый десяток. Кто-то перебрался на Запад, многие приняли ислам и остались в Афганистане и Пакистане...

В конце концов следственной группе удалось идентифицировать, найти и допросить оставшихся в живых сотрудников НКВД, имевших непосредственное отношение к расстрелам. Наиболее яркую картину, со множеством деталей, нарисовал бывший начальник УНКВД по Калининской области генерал-майор Токарев. «Первое впечатление о Токареве как о угасающем старике оказалось ошибочным, — пишет военный прокурор Яблоков. — Физическая немощь не повлекла за собой деградации личностной. Сразу проявились внутренняя собранность, быстрота и логичность мышления, острая память, эрудированность и глубокий ум и — что особенно поразило — неизжитая авторитарность». (Все это мне так знакомо! Эти люди помнят всё до последней подробности, слабоумием не страдает никто.) Токарев подробно рассказал, как было оборудовано помещение для расстрелов в одной из камер тюрьмы УНКВД (ее стены обшили войлоком), как расстреливали (выстрелом в затылок), каким оружием (немецкими «вальтерами»).

Потрясающее свидетельство Токарева — его показание о приказе Кобулова не оставлять в живых ни одного свидетеля, который не участвовал в казнях. Как тут не вспомнить русских нигилистов, Сергея Нечаева с его идеей повязать кровью заговорщиков и изображение нечаевщины в «Бесах» Достоевского, где Николай Ставрогин советует Верховенскому: «...есть одна штука еще лучше: подговорите четырех членов кружка уколошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитой кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать». Именно из-за кобуловского приказа, желая спасти жизнь одному из водителей, который отказался было участвовать в расстрелах, Токарев, по его словам, угрожал ему расстрелом.

Токарев выразительно описал главаря палачей Блохина, приехавшего со своими подручными для исполнения бессудных приговоров из Москвы: «Перед расстрелом Блохин надел спецодежду: кожаную коричневую кепку, длинный того же цвета кожаный фартук, такие же перчатки с крагами выше локтей...»

Благодаря показанию Токарева о том, что все участники расстрелов были награждены в приказе по НКВД, по этому наградному списку нашли и других доживших до наших дней членов расстрельной команды. Наконец, Токарев с высокой точностью — ошибся всего на 16 человек — назвал число расстрелянных в Медном и указал точное место захоронения.



В ходе расследования подполковник Яблоков привлек к изучению собранных материалов группу видных экспертов во главе с директором Института государства и права Российской Академии наук Борисом Топорным. Комиссия, в которую вошли историки, юристы, криминологи и специалисты по судебной медицине, тщательно проанализировала весь корпус документов, в том числе данные немецкой и польской экспертиз 1943 года.

В итоге эксперты пришли к заключению о том, что эксгумация останков, с которыми работала комиссия Бурденко, была проведена заранее, исследование трупов было поверхностным. Полные протоколы судебно-медицинской экспертизы обнаружить не удалось, а данные, имеющиеся в акте, приложенном к сообщению комиссии Бурденко, содержат лишь выводы, но не основания для этих выводов. В частности, непонятно, каким образом судмедэксперты датировали смерть осенью 1941 года. Они ссылались лишь на свой личный опыт, но непонятно, учитывали ли они свойства почвы, климатические особенности, активность микрофауны, факт двойной эксгумации трупов и другие объективные факторы. Никаких следов «последующих микроскопических и химических исследований в лабораторных условиях», для которых изымал материал Бурденко, следствию обнаружить не удалось. По авторитетному мнению членов комиссии академика Топорнина, при таких условиях даже современная судебная медицина во всеоружии современных методов исследования не в состоянии определить время расстрела с точностью до полугода. Поэтому международная комиссия, работавшая в Катыни в 1943 г. по приглашению немецких оккупационных властей, этого и не сделала: дата была установлена по документам, найденным на трупах. Метод псевдокаллуза, предложенный венгерским экспертом профессором Оршосом для датировки захоронений (твердые отложения на поверхности мозговой массы), по мнению специалистов комиссии Топорнина, судебно-медицинской практикой не подтвердился. Но выводов, основанных на вещественных доказательствах, это не отменяет.

Отдельную проблему представляла проверка аутентичности документов «особой папки». На утверждениях, что эти документы — позднейшая подделка, строили свои возражения против приобщения их к материалам «дела КПСС» эксперты КПСС — заведующий кафедрой Волгоградской высшей следственной школы МВД РФ профессор Феликс Рудинский и кандидат юридических наук народный судья Слободкин. Эти аргументы с тех пор остаются в обороте российской публицистики на катынскую тему. В своем «опровержении» Юрий Слободкин пишет:

«Одним из признаков, указывающих на фальсификацию записки Берии и выписки из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б), явилось полное совпадение дат отправки записки (5 марта 1940 г.) и проведения заседания Политбюро (тоже 5 марта 1940 г.). В практике работы Политбюро такого никогда не было. Разрыв во времени между датой отправки того или иного документа с предложением рассмотреть какой-то вопрос на заседании Политбюро и самим заседанием составлял не менее 5-6 дней».

Профессор Рудинский, в свою очередь, ссылается на мнение Слободкина, которому, судя по всему, доверяет. Слободкин, пишет он, заявил, «что протокол заседания Политбюро, где за №144 от 5 марта значится «Вопрос НКВД», по его мнению, сфальсифицирован. Он обратил внимание суда, что нумерация заседаний Политбюро вызывает сомнение: №136, потом вдруг сразу №144 от 5 марта. «Почему, если все это... велось по порядковым номерам, не идет 137 номер записки по порядку, а идет вдруг сразу 144 номер?» — спросил Юрий Максимович».

Опровергатели обращают внимание и на то, что записка Шелепина на имя Хрущева с предложением уничтожить учетные дела расстрелянных поляков имеет двойную дату: она датирована 3 марта 1959 г., а зарегистрирована в текущем делопроизводстве 9 марта 1965.

Эти и другие «доказательства фальсификации» скрупулезно разобраны и опровергнуты. Дата 5 марта 1940 г. на записке Берии — это не дата ее составления или поступления в канцелярию Политбюро, а дата принятия решения по ней. Пропуски в нумерации пунктов решений протокола Политбюро от 5 марта того же года (на тех самых двух листах, изъятых по указанию Черненко, поэтому текст начинается с полуслова) объясняются тем, что это не полный протокол, а выписки из него, куда вошли только секретные решения. В открытом, несекретном протоколе в таких случаях оставались лишь ссылки на особую папку.

С запиской Шелепина подробно разбирались следователи ГВП. Они допросили ее автора, обращались за консультациями к начальнику Центрального архива МБ РФ полковнику Александру Зюбченко. Шелепин подтвердил подлинность своей записки. По его словам, спустя три месяца после его вступления в должность кто-то из подчиненных доложил ему, что в помещениях архива целая комната занята секретными документами, совершенно ненужными для работы, и предложил запросить у ЦК КПСС разрешение на их уничтожение. Как заявил Шелепин, первое время на новом месте он чувствовал свою некомпетентность, доверял профессионалам ведомства и потому подписал бумагу, «не вникая в существо вопроса».

Документ, по всей видимости, хранился в сейфе заведующего общим отделом ЦК КПСС Владимира Малина. Такой порядок был принят при общении с особо важными документами, которые к тому же, как записка Шелепина, составлялись в единственном экземпляре и писались не на машинке, а от руки. В июле 1965 г. Малин был назначен ректором Академии общественных наук при ЦК КПСС и перед уходом зарегистрировал записку Шелепина. Его место во главе общего отдела занял Константин Черненко; о том, как он распорядился катынскими документами, мы уже знаем. Владимир Никифорович Малин умер в Москве в январе 1982 г., поэтому подтвердить эту версию не представляется возможным.

Уничтожены ли учетные дела, как предлагал Шелепин Хрущеву? Это неизвестно.



Шелепин писал в своей записке: «Для исполнения могущих быть запросов по линии ЦК КПСС или Советского правительства можно оставить протоколы заседаний тройки НКВД СССР, которая осудила указанных лиц к расстрелу и акты о приведении в исполнение решений троек. По объему эти документы незначительны и хранить их можно в особой папке».

Где эти «решения троек»? В том досье, о котором говорил Фалину Пирожков? Неизвестно.

Летом 1994 г. расследование Главной военной прокуратуры, пережив взлеты и падения, подошло к своему финалу. Руководитель группы Анатолий Яблоков написал постановление о прекращении дела за смертью обвиняемых. Военный прокурор пошел на беспрецедентный шаг — он квалифицировал расстрелы польских военнопленных не по советскому законодательству, действовавшему в момент совершения преступления, а по уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге. По мнению Яблокова, в деле имеются признаки преступлений, предусмотренных ст. 6 устава МВТ, а именно: преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления. При этом Яблоков исходил из квалификации, которую советская юстиция уже дала катынским расстрелам в Нюрнберге — изменился лишь состав обвиняемых, но не суть преступления.

Однако начальники Яблокова с таким подходом не согласились. Его постановление было отменено, дело передано другому прокурору с указанием переqualифицировать состав преступления на превышение власти (ст. 110 УК РСФСР в редакции 1929 г.) — именно так квалифицировались действия участников массовых репрессий в процессе хрущевской реабилитации. Практически никто из них ошутимого наказания не понес.

После того, как президентом России стал выходец из «органов», о каких-либо прорывах в катынском деле говорить уже не приходится. Лишь на третьем году своего первого президентского срока, в январе 2002 г., Владимир Путин собрался с визитом в Варшаву. Перед поездкой он принял в Кремле польских журналистов. Главный редактор «Газеты выборчей» Адам Михник спросил его, каково, по его мнению, место Сталина в истории России. «Это такой несколько провокационный вопрос», — сказал Путин. «Немножко», — согласился Михник. «Ну, не немножко», — возразил Путин. И добавил, что «Сталин, конечно, диктатор», но «именно под его руководством страна победила во II Мировой войне».

Сталинистские симпатии сегодня в России скрывать не принято. Ими, напротив, шеголяются в московских политических салонах. Лжепатриотизм, ксенофобия, комплекс великодержавности определяют сегодня внешнюю политику России.

Отношения между Москвой и Варшавой вконец испортились в связи с участием Александра Квасневского в урегулировании украинского кризиса. А потом были торжества в Москве по случаю 60-летия Победы, и Александр Квасневский колебался, ехать ему или нет, потому что Россия вдруг стала яро оправдывать пакт Риббентропа—Молотова. Потоки лжи и оскорблений, извергнутые в адрес балтийских соседей России, запомнятся надолго. На любые упоминания о советско-германском пакте Путин реагировал с нескрываемым раздражением. Даже в Израиле, в музее «Яд-Вашем» (посещение имело место 28 апреля 2005 г.), когда гид сослался на пакт, Путин тотчас предъявил претензию: а почему вы не говорите о мюнхенскомговоре?

Президенты Литвы и Эстонии Валдас Адамкус и Арнольд Руйтель в конце концов отклонили приглашение Путина на празднество. Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга приехала, хотя Москва делала все, чтобы у нее сдали нервы. Приехал и Александр Квасневский.

Упорное стремление уравнивать «мюнхенскийговор» и пакт Сталина с Гитлером, истолковав пакт как следствие «сговора», фактически возвращает нас к сталинской оценке предвоенной политики европейских держав, впервые изложенной в брошюре 1948 г. «Фальсификаторы истории» в ответ на публикацию в США сборника документов о нацистско-советских отношениях 1939-1941 годов. Оценка эта с тех пор оставалась обязательной для советских историков вплоть до 24 декабря 1989 г., когда Съезд народных депутатов СССР признал предвоенные советско-германские секретные протоколы «юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания». Мюнхенское соглашение 1938 г., позволившее Гитлеру оккупировать Судетскую область Чехословакии, где преобладало немецкое население, было чудовищной ошибкой Чемберлена и Даладье, но они были убеждены, что подписывают договор о мире. Пакт Молотова—Риббентропа открывал Гитлеру дорогу к войне.

В такой морально-политической атмосфере оставалось лишь окончательно закрыть дело о катынских расстрелах. В марте 2005 г. главный военный прокурор России Александр Савенков заявил, что расследование закончено. «По просьбе польской стороны, — сказал он на пресс-конференции, созванной по этому случаю, — мы тщательно исследовали данные обстоятельства и по результатам этих исследований приняли соответствующее процессуальное решение. Уголовное дело прекращено за отсутствием события преступления, поскольку факт геноцида польского народа не имел места ни на государственном уровне, ни в юридическом смысле. Дело было прекращено как военное должностное преступление, связанное с превышением должностных полномочий». «Геноцида нет, — еще раз повторил Савенков. — В дискуссию на эту тему я вступать не буду». [Судя по ответу Главной военной прокуратуры обществу «Мемориал» от 24 марта 2005 г., уголовное дело прекращено также за смертью виновных. Цитата из письма ГВП: «Действия ряда конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР квалифицированы по п. «б» ст. 193-17 УК РСФСР (1926 г.) как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств. 21.09.2004 г. уголовное дело в их отношении прекра-



шено на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за смертью виновных. В ходе расследования по делу по инициативе польской стороны тщательно исследовалась и не подтвердилась версия о геноциде польского народа в период рассматриваемых событий весны 1940 года. С учетом изложенного уголовное дело по признакам геноцида прекращено за отсутствием события преступления на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ». — *Прим. ред.*]

Но это еще не все. Даже с материалами закрытого дела польская сторона в полном объеме ознакомиться не сможет. По словам Савенкова, из 183 томов дела 116 содержат сведения, составляющие государственную тайну. Поэтому Польше может быть передано лишь 67 томов.

При таком настрое властей неудивительно, что в России расплодилось и расцвело пышным цветом различные обскурантистские и реваншистские группы и движения. Апология карательных органов и сталинского режима в целом приобрела масштабы, невиданные даже в брежневско-андроповские годы. Немалое место в этом мутном потоке занимают и попытки вернуться к сталинской версии катынских расстрелов.

В этой кампании участвуют видные политики, такие как, например, бывший высокопоставленный сотрудник Прокуратуры СССР, ныне депутат Государственной Думы от КПРФ Виктор Илюхин. В одном из своих интервью он начисто отрицает вину НКВД и дополняет версию комиссии Бурденко сведениями о неких мифических, будто бы недавно обнаруженных, но скрываемых от народа документах, доказывающих вину нацистов. По мнению Илюхина, обвинение против НКВД основано исключительно на документах «особой папки» и в очередной раз выражает сомнение в их подлинности. Он ссылается на показания уже знакомого нам Михея Кривоцерца и на некий «подлинник протокола допроса немецких военнопленных», которые признались, что лично расстреливали поляков. «Геббельс, упоминая в своем дневнике о Катыни, — заключает Илюхин, — писал, что сделает из этого колоссальный скандал, который и много лет спустя будет доставлять Советам огромные неприятности. Видимо, знал, что у него будут старательные последователи».

Илюхину вторит и интервьюер: «Писатель В.Жухрай, являющийся доктором исторических наук, указывает, что изготовление и внедрение фальшивок такого рода (как постановление Политбюро от 5 марта 1940 года. — В.А.) входит в методику работы английской разведки. Там работают прекрасные специалисты, оснащенные самой совершенной техникой. Он считает, что данные фальшивки были помещены в партийные архивы зарубежной агентурой в смутное время после смерти Сталина». Видимо, ни журналист, ни Виктор Илюхин не знают, что корпус документов, обличающих НКВД, насчитывает сотни, если не тысячи архивных документов, совпадающих в мелких деталях, — фальсифицировать такой объем документации не под силу даже английской разведке, ей шпионить будет некогда. Впрочем, взглянув на фамилию автора, я все понял — это тот самый редактор «Литературной газеты», который когда-то в горбачевские времена запретил мне посещать «полуподпольные сбирщища», где обсуждалась катынская тема. Так замыкается круг.

Вряд ли стоит вступать в полемику с таким одиозным автором, как Юрий Мухин, сделавший себе имя на «разоблачениях» польской версии Катыни. От автора, который доказывает, что американцы никогда не высаживались на Луне и что вместо Ельцина Россией правил двойник, к тому же пишет в истерическом и оскорбительном тоне, лучше держаться подальше. Однако и его «разоблачения» все до единого добросовестно разобраны и опровергнуты. Тем не менее они продолжают гулять по русскому Интернету, где катынской теме посвящено несколько форумов, участники которых громоздят все новые горы неведомо откуда взявшихся «доказательств».

Вот лишь один образец уровня полемики.

Внимательный Читатель:

Судя по размещенному на вашем сайте документу (следует ссылка) руководство СССР планировало в 1990 году погасить затребованную поляками компенсацию за Катынь в размере 5-7 млрд. инвалютных рублей путем списания задолженности Польши Советскому Союзу. По современному курсу это не менее 11-13 млрд. Известно ли что-нибудь о том, какое решение было тогда принято Политбюро или ЦК КПСС по записке Яковлева и Шеварднадзе? Зная нравы Горбачева и его окружения, можно не сомневаться, что польская задолженность была списана за элементарную взятку со стороны поляков Горбачеву, Яковлеву и Шеварднадзе.

Сергей Стрыгин, администратор форума:

Для подобных далеко идущих выводов пока нет достаточных оснований. Хотя почти наверняка вы кое-что в чем правы, поскольку дыма без огня не бывает.

Сергей Стрыгин — представитель нового поколения борцов за «правду о Катыни». Он не ограничивается сочинением наукообразных текстов. У него есть организация, так называемая Армия Воли Народа, активисты которой устраивают публичные мероприятия в Москве. Одной из самых заметных акций АВН стал пикет в сквере у посольства Польши 4 ноября 2005 г., о котором широко сообщала польская пресса. 30 марта 2006 г. Сергей Стрыгин добился приема в Главной военной прокуратуре. От ГВП в беседе участвовали генерал-майор юстиции Валерий Кондратов и полковник юстиции Сергей Шаламаев, который завершал следствие по Катыни. «В ходе состоявшейся беседы, — сообщает Стрыгин на своем сайте, — стороны продемонстрировали друг другу принципиально противоположное и взаимоисключающее понимание сути катынского дела».

Индоктринация приносит свои ядовитые плоды. Согласно опросу социологической службы «Левада-центр», в глазах российских граждан Польша — недружественное России государство. Она входит во вторую пятерку недружественных стран вместе с Украиной, Афганистаном, Ираком и Молдавией. Еще в 2005 г. эту позицию



занимал Иран, а Польша была дружественной страной. Польшу все еще называют в числе союзников России во II Мировой войне, но если в 2001 г. таких респондентов было 19%, то в 2004-м — 15.

В замороченных головах граждан России каким-то удивительным образом уживаются страх перед ростом фашизма и самый грубый национализм: по опросу «Левада-центра», опасаящихся фашизма в стране 53%, в то же время 17% считают, что давно пора осуществить на деле идею «Россия для русских», а еще 37 — что осуществить ее надо «в разумных пределах».

Шовинистический угар у моих соотечественников рано или поздно пройдет. Останется чувство жгучего стыда за людей, которых не по чину, каким-то попутным ветром занесло на вершину власти. За что же опять России такая пагуба? Откуда оно взялось на нашу голову, это племя, как писал Константин Леонтьев, «неопределенного цвета и лукавого петербургского подбоя»?

Они все время говорят, что надо забыть былые обиды и всё начать заново, с чистого листа. Но сами не в состоянии забыть бесславный уход восвояси оттуда, куда их никто не звал.

Историю переписать несложно. Но обмануть историю нельзя — обманутым в итоге остаешься ты сам.

Москва не делает тайны из результатов расследования, заявил с трибуны Государственной Думы тогдашний генеральный прокурор России Владимир Устинов. И добавил, что депутаты, имеющие допуск к секретным документам, могут ознакомиться с закрытой частью материалов.

Этот кафианский комментарий дополнился в ноябре того же 2005 года новым событием. На заявление вдовы одного из расстрелянных с просьбой о реабилитации покойного Главная военная прокуратура ответила, что, с ее точки зрения, катынские расстрелы — не политическая репрессия, а потому и реабилитации их жертвы не подлежат.

Ответ вызвал бурю возмущения в Польше. Но я в данном случае согласен с ГВП. Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» предполагает политические мотивы расправы и хоть какую-то, пусть квазиправовую, процедуру осуждения. Ни того, ни другого в катынском деле не было. Да и непонятно, для чего родственникам жертв эта реабилитация. Она была придумана Хрущевым в рамках возвращения к «ленинским нормам» справедливости и законности. Узников ГУЛАГа реабилитировали те же самые суды и зачастую те же люди, что и обрекали их на страдания, — просто взяли под козырек и стали выполнять новые указания партии и правительства. С такой же легкостью, с какой прежде доказывали, что обвиняемый — террорист, шпион и белогвардеец, стали доказывать, что он верный ленинец, лояльный драконовскому режиму. И восстанавливали страдальца в партии.

Каждый, кто занимался изучением истории карательных органов и реабилитации жертв режима, согласится со мной: это какое-то кольцо, блуждание в замкнутом пространстве. Всякий раз, пытаясь обнаружить оборотную, истинную сторону событий, оказываешься все на той же плоскости и ходишь по кругу. Потому и не удаются, носят односторонний характер попытки реабилитации жертв политических репрессий: реабилитирующие комиссии разбирают дела в рамках той же абсурдистской логики, в какой они фабриковались. Бухарин реабилитирован и посмертно восстановлен в партии, а Ягода, проходивший по тому же процессу, — нет. Первый не был правотроцкистским заговорщиком, а второй, выходит, был — хотел свергнуть Сталина и восстановить капитализм.

Реабилитация имела огромное значение потому, что реабилитированные получали материальную компенсацию за конфискованное имущество и каждый год заключения (и то и другое — по издевательским нормам), право на жилплощадь, бесплатное протезирование зубов... Но ведь ничего этого семьям катынских жертв не нужно. Чего же они хотят, зачем ломаются в запертую наглухо дверь?

Они просто хотят знать правду, которой до сих пор не знают. Как не знаем мы правды про московские взрывы, Норд-Ост и Беслан. И пока не узнаем, не сможем простить.

Возможен ли вообще суд над прошлым — не символический, а реальный, юридически убедительный?

Когда Кромвель и его соратники учинили суд над Карлом I, они заметно нервничали с непривычки. Им было страшно вато судить легитимного монарха: не ровен час разверзнутся небеса, и произойдет что-нибудь нехорошее. Однако обошлось. Голова Карла скатилась с плеч, а спустя 11 лет парламент призвал на трон его сына. Карл II милостиво принял приглашение. Первым долгом он приказал выкопать и повесить труп Кромвеля.

Поскольку англичане уже создали прецедент, за французскими революционерами дело не стало. Причину, по которой Людовика надо обязательно осудить, Робеспьер объяснил Конвенту с подкупающей простотой: «Если король невиновен, тогда виновны те, кто его сверг». Безупречная логика!

В истории были чудовищные гекатомбы, за которые никто не наказан. Ни за работорговлю, ни за колониализм, ни за геноцид коренных народов Северной Америки и Сибири, ни за войну пулеметами «максим» с не знающими пороха туземцами, ни за потраву неприятельских солдат газами, ни за голод, ни за ГУЛАГ никто никакой юридической ответственности не понес. Кого судили за I Мировую войну? Да никого. Даже революции стали гуманны: низложенные монархи побежденных стран мирно удалились в изгнание и имущество с собой вывезли целыми железнодорожными составами. А ведь Гаагские конвенции о законах и обычаях войны уже существовали.

Впрочем, на Парижской мирной конференции в 1919 г. лидеры победивших держав обсуждали вопрос о наказании кайзера. Англичане хотели его повесить, но президент США Вудро Вильсон напомнил Ллойд-Джорджу Карла I: мол, хватит, одного уже казнили, так его потом поэты превратили в мученика. Тогда, может, сослать, как Наполеона? «Только не на Бермуды, — попросил Вильсон. — Я сам хочу там поселиться». В конце концов с



Вильгельмом решили не связываться, тем более что Нидерланды наотрез отказались выдать его. Новому правительству Германии передали список тысяч лиц, обвиняемых в военных преступлениях. Из них к суду привлекли 12 человек, большинство оправдали. Двум капитанам субмарин, топившим спасательные шлюпки с ранеными, дали по четыре года; через несколько недель после приговора они сбежали из тюрьмы и так и не нашлись.

Кайзер дожил в неге и довольстве аж до 1941 г., писал мемуары, читал Вудхауза, обличал всемирный еврейский заговор, ликовал по случаю прихода к власти Гитлера и умер за считанные дни до вторжения немецких войск в Советский Союз.

И лишь бесчинства нацистов на оккупированных территориях заставили лидеров антигитлеровской коалиции всерьез задуматься о международном суде. Черчилль был против, Сталин — за, но хотел провести судилище по сценарию московских процессов. Только американцы подошли к делу с правовой точки зрения — начали собирать доказательства и разрабатывать регламент трибунала. Кстати, вопреки общественному мнению своей страны, которое считало, что главарей Рейха надо попросту вздернуть без суда и следствия. Именно американская делегация настояла на процедуре реального состязательного процесса — не потому, что желала оправдания обвиняемых, а чтобы процесс потом не объявили судом победителей. Но его все равно объявили.

Гаагский суд над Милошевичем стоило бы назвать фарсом, если бы не преждевременная смерть обвиняемого. Процесс Саддама в Багдаде и вовсе смехотворен.

Если уж судить, так всерьез и по-честному. Потому что должен быть иной ответ помимо того, который дает Булгаков в финале великого романа:

«Заплатит ли кто-нибудь за кровь?»

Нет. Никто. Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю... выйдут пышные всходы... задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет.

Никто».

P.S. В первом десятилетии XXI века в России вошли в моду стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Этот факт надобно занести на «кровавые скрижали», о которых сказано в этих стихах, то есть в историю русско-польских отношений. Первое — ответ «народным витиям» Франции, которые требовали от своего правительства оказать помощь польскому восстанию 1830-1831 г., второе — ода на взятие Варшавы войсками генерала Паскевича, тоже обращенная к Европе. В свое время советским пушкинистам приходилось проявлять чудеса казуистики, дабы замазать антипольский смысл стихов.

Однако из песни слова не выкинешь. В отличие от верноподданнического ража других, у Пушкина упоение кровавой расправой было совершенно искренним. Описав в письме к Вяземскому отчаянный героизм поляков в одном из сражений, он добавляет: «Все это хорошо в поэтическом отношении. Но все-таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна». Но князь этих взглядов не разделял. Он назвал «Клеветникам России» «*шинельными* стихами», пояснив, что имеются в виду «стихотворцы, которые в Москве ходят в шинеле по домам с поздравительными одами». «*Народные вития*», — пишет он с неподражаемой невозмутимостью, — могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим, или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим».

Суров был князь Петр Андреевич. Как выразился один из современников, «гонял Пушкина за Польшу» без всякой пощады: «Вот воспевайте правительство за такие меры, если у вас колена чешутся и непременно надобно вам ползать с лирою в руках». Эта оценка была господствующей в русском обществе, по крайней мере в том кругу, мнением которого дорожил Пушкин.

Федор Тютчев (тот самый, что писал про «особенную статью» России и про то, что к ней нельзя подходить с общей меркой) слагал хвалу Муравьеву — душещипательного польского восстания, 1863 года, и тоже от чистого сердца. Он был далеко не одинок, но в среде людей независимых уважения не снискал. Петербургский генерал-губернатор Суворов, внук знаменитого полководца, на предложение подписать приветственный адрес «Вешателю» не только ответил отказом, но и назвал Муравьева «людоедом» (*un croque-mitaine*). Возмущенный изобретатель особенного русского аршина разразился юродивыми виршами:

*Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь!..*

В апреле 1866 г., когда сразу после покушения Каракозова на царя в стране воцарилась атмосфера злобной реакции, Некрасов в тщетной надежде спасти от закрытия свой журнал «Современник», прочел на обеде в Английском клубе «мадригал» в честь графа Муравьева. В тот же вечер, вернувшись с обеда, он написал покаянные строки:

*Ликует враг, молчит в недоуменьи
Вчерашний друг, качая головой...*

Журнал ему спасти не удалось. Позором он горько терзался всю оставшуюся жизнь, хотя злосчастные стихи и не были опубликованы.



Так обстояло дело прежде. Сегодня в России завелись свои «мутители палат». Они не только не стесняются своей полонофобии, но и получают явное удовольствие от публичной демонстрации оной. «Как похотлив их патриотизм! — писал все по тому же поводу Вяземский. — Только пощекочешь их, а у них уже и заходится и грезится им, что они ублудили первую красавицу в мире». Изрядно сказано. Им никогда не бывает стыдно — у них в организме отсутствует железа, вырабатывающая фермент стыда. Они придумали назвать московскую улицу Климашкина, на которой стоит посольство Польши, именем Муравьева и воздвигнуть на ней кумир «Вешателя».

Это было в марте 2005 г., когда городские власти Варшавы назвали одну из городских площадей именем Джохара Дудаева. Летом того же года в Варшаве скинхеды избили детей российских дипломатов (детям было по 16-17 лет), что в Москве расценили чуть ли не как акт агрессии против России; расследования требовал лично Путин. Спустя несколько дней началась кулачная дипломатия: в российской столице неизвестные избили сначала польского дипломата, затем польского журналиста.

Когда позорный счет кулачным расправам сравнился, люди из правительства Москвы объявили план переименования улицы шуткой, что, разумеется, еще гнуснее: люди, способные так шутить, бесповоротно перешагнули грань приличий.

Тем временем в Польше отметили 85-летний юбилей «чуда на Висле» — разгрома войск Тухачевского на подступах к Варшаве. Лозунг похода Тухачевского был: «Через труп Польши — к мировой революции!» Однако поражение под Варшавой переломило ход войны. Блицкриг не получился. После этой битвы большевистские армии в Европе только отступали. О мировой революции пришлось забыть.

А в ноябре того же 2005 года пришел черед веселиться и нам: Россия впервые справила в качестве государственного праздника день изгнания «польских интервентов» из Москвы, которым заменили праздник по случаю октябрьского переворота. Не день победы над Гитлером, не разгром татар, ливонцев, крымского хана, турок, шведов или французов, которые тоже добрались до Кремля, а поляков. Это теперь главный государственный праздник России.

Президент Путин по этому случаю выступил с обращением к народу, прочел краткую лекцию о том, что изгнанием «иноземных захватчиков... был положен конец Смутному времени в России, конец междоусобице и распрям, разобщенности и связанным с этим упадком». Одним словом, изгони иностранца — и в стране воцарятся мир и благодать. «С этого героического события, — вещал президент, — началось духовное становление державы — великой и суверенной».

Казенная легенда, необходимая дому Романовых для утверждения его легитимности, спокон века ассоциировалась в сознании русских с понятием патриотизма. Но и патриотизм этот всегда был казенный.

За древностью лет позабылось, что царь Димитрий, встреченный в Москве колокольным звоном и ликованием измученного Смутой народа, был русским; русским по преимуществу было и его войско. Его право на престол ни в коей мере не оспаривалось. Польской марионеткой он не был. Его отношения с Сигизмундом III складывались крайне неудачно.

Новый царь был первым русским монархом, увидевшим мир западной цивилизации и вкисившим ее благ. Человек умный и способный, он задумал глубокие реформы, которые должны были радикально изменить облик Московского царства, повергнутого в варварство зверствами опричнины; он мечтал о братском слиянии двух великих славянских народов. Лжедмитрий был тайным католиком. Он видел себя во главе христианского войска, сокращающего Османскую империю — источник главной военной угрозы для Европы того времени. Создание антиисламской коалиции было насущным вопросом европейской повестки дня. Успешная реализация этого плана могла превратить Москву в лидера крещеного мира.

С возведением на престол Димитрия у России появился шанс войти в семью европейских народов — «интегрироваться в Европу», как говорят теперь. Этому не суждено было сбыться. Окно в Европу заросло.

Патриоты правильно поняли президента. В день народного единства они устроили в Москве «Правый марш», участники которого несли лозунг «Россия для русских». Как некогда невежественные и изнуренные нуждой подданные Московского царства, участники этого шествия верят, что все зло в России от чужеземцев.

Так и живем. То на нашей улице праздник, то на польской. Вместе не умеем.

Русский философ Владимир Соловьев, страстный проповедник воссоединения западного и восточного христианства, считал «исторической обязанностью» России решение польского вопроса. «Россия должна делать добро польскому народу», — писал он. Воссоединение христианских Церквей было самым сокровенным упованием Иоанна Павла II. Покойный понтифик воспринимал разделение Церквей как наказание за грехи прошлого и неустанно эти грехи замаливал. Чтя мучеников веры, он заклинал, обращаясь к православным единоверцам, помнить, во имя чего они претерпели свои страдания от языческих и атеистических властей: «Все едины в этих мучениках, в Риме, на «Горе Крестов» и на Соловешких островах, и столь многих других лагерях уничтожения. Объединенные тенью мучеников, мы не можем не быть едиными».

Завет Иоанна Павла II останется его духовным наследием и рано или поздно будет исполнен. «Действительное и внутреннее примирение с Западом, — писал Владимир Соловьев, — состоит не в рабском подчинении западной форме, а в свободном соглашении с тем духовным началом, на котором зиждется жизнь западного мира». Для такого соглашения время, как видно, еще не пришло.



РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ КАТЫНСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Под этим названием прошла 13 марта 2007 г. в Москве пресс-конференция международного общества «Мемориал», посвященная тому, что Главная военная прокуратура РФ отказывается рассмотреть заявления «Мемориала» о признании расстрелянных польских граждан жертвами политических репрессий. В пресс-конференции приняли участие Наталья Лебедева — историк, автор монографии о Катыни, составитель сборника «катынских» документов, изданного в России и в Польше; Диана Сорг — адвокат, консультант общества «Мемориал»; Арсений Рогинский — председатель правления Международного общества «Мемориал»; Александр Гурьянов — руководитель Польской комиссии общества «Мемориал».

Собирательный термин «Катынское преступление» означает бессудный расстрел советскими властями в апреле-мае 1940 г. 22 тысяч польских военнопленных и заключенных тюрем Западной Белоруссии и Западной Украины. Захоронения расстрелянных польских офицеров были впервые обнаружены в 1943 г. в Катыни под Смоленском. На протяжении последующих 47 лет Катынь оставалась единственным достоверно известным местом захоронения жертв этой «операции».

Советский Союз признал вину в совершении катынского расстрела только в 1990 г., а в 1992 г. Россия обнародовала документы, подтверждающие ответственность руководства СССР за казнь польских граждан по политическим мотивам.

В наши дни Главная военная прокуратура РФ отказывается рассмотреть заявления «Мемориала» о признании конкретных расстрелянных польских граждан жертвами политических репрессий, а Хамовнический районный суд г. Москвы отказывается принять к производству заявления «Мемориала», оспаривающие незаконные действия Военной прокуратуры. «Мемориал» обжалует определения Хамовнического районного суда в Мосгорсуде.

Хронологию событий, связанных с Катынским преступлением, а также информацию о действиях «Мемориала», направленных на реабилитацию жертв этого расстрела, см. в приложениях и на сайте «Мемориала» www.memo.ru (в разделе «День за днем»). (Публикуем оба приложения с небольшими сокращениями. — Ред. «НП»)

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ КАТЫНСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Термин «Катынское преступление» — собирательный. Он означает осуществленную советскими властями бессудную казнь в апреле-мае 1940 г. около 22 тысяч польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР:

— **14.552** (по некоторым данным 15.131) **польских офицеров и полицейских**, взятых в плен Красной Армией в сентябре 1939 г. и содержавшихся в трех спецлагерях НКВД для военнопленных:

- Козельском — 4421 расстрелянных и захороненных в Катыни под Смоленском,
- Осташковском — 6311 расстрелянных в Калинин и захороненных в Медном,
- Старобельском — 3820 расстрелянных и захороненных в Харькове;

— **7305 арестованных, содержавшихся в тюрьмах западных областей Украинской и Белорусской ССР**, расстрелянных, по-видимому, в Киеве, Харькове, Херсоне и Минске, возможно и в других не установленных местах на территории БССР и УССР.

Катынь, являвшаяся лишь **одним** из целого ряда мест расстрела, стала символом казни **всех** вышеперечисленных групп польских граждан, так как именно в Катыни в 1943 г. были впервые обнаружены захоронения расстрелянных польских офицеров. На протяжении последующих 47 лет Катынь оставалась единственным достоверно известным местом захоронения жертв этой «операции».

Все эти годы руководство Советского Союза скрывало правду о катынском преступлении и, наперекор очевидным для всего мира свидетельствам, выдвигало сфабрикованную органами НКВД-НКГБ СССР и «проштампованную» официальной советской комиссией под руководством академика Н.Н.Бурденко версию виновности нацистской Германии. Лишь в апреле 1990 г. Советский Союз официально признал, что польские граждане были расстреляны НКВД СССР, а президент СССР Михаил Горбачев передал президенту Польши Войцеху Ярузельскому архивные документы, содержащие поименные списки более 14,5 тыс. казненных военнопленных.



В том же году по распоряжению президента СССР Главная военная прокуратура (ГВП) начала следствие по делу «о судьбе польских офицеров, содержащихся в Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях». В 1990–1994 гг. следственная группа ГВП добилась важных результатов:

- были установлены свидетели и соучастники преступления, допрошены те из них, кто еще был жив;
- выяснен механизм подготовки и проведения этой «операции»;
- окончательно установлены места захоронения расстрелянных узников Старобельского и Осташковского лагерей военнопленных — 6 квартал лесопарковой зоны на окраине Харькова и район села Медное Калининской (ныне Тверской) области;
- раскрыт механизм фальсификации доказательств, использованных в качестве основы лживой советской официальной версии преступления.

Важнейшим шагом стало обнаружение в октябре 1992 г. документов, изобличающих руководство СССР в совершении «Катынского преступления», — решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. о расстреле польских узников, адресованной Сталину «постановочной» записки наркома внутренних дел Берии к этому решению (с собственноручными подписями Сталина, Ворошилова, Молотова и Микояна, а также отметками о голосовании «за» Калинина и Кагановича) и других документов «особого пакета № 1» из Президентского архива. **Впервые были получены документальные доказательства того, что жертвы «Катынского преступления» были казнены по политическим мотивам — как «закоренелые, неисправимые враги советской власти».** Также впервые стало известно, что были расстреляны не только военнопленные, но и заключенные тюрем западных областей УССР и БССР.

О ходе и результатах расследования «Катынского дела» Главной военной прокуратурой после 1994 г. ничего не известно. В марте 2005 г. Главный военный прокурор РФ А.Н.Савенков на своей пресс-конференции публично заявил о прекращении «Катынского дела» еще в сентябре 2004 г. и **объявил государственной тайной персональный состав виновных.** А.Н.Савенков сообщил, что постановление о прекращении уголовного дела и (некоторые) документы, встречающиеся в 36 томах уголовного дела, имеют гриф «секретно» и «совершенно секретно», а в 80 томах встречаются документы с грифами «для служебного пользования». На этом основании доступ к 116 томам закрыт. В 67 томах никаких грифов нет, и только с этими делами было позволено ознакомиться польской стороне.

15 марта 2005 г. «Мемориал» сделал запрос в ГВП по поводу состоявшейся пресс-конференции Главного военного прокурора и получил ответ, что «действия ряда конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР квалифицированы по п. «б» ст. 193-17 УК РСФСР (1926 г.) как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств».

4 апреля 2005 г. правление Международного общества «Мемориал» выступило с заявлением «О расследовании «Катынского преступления» в России», настаивая на недопустимости прекращения расследования столь формальным образом, требуя дать бессудным расстрелам польских граждан правовую квалификацию по существу, предать гласности имена всех участников преступления, полностью установить имена всех жертв, включая расстрелянных узников тюрем Западной Белоруссии, реабилитировать все жертвы этого злодеяния.

Через несколько месяцев из сообщений польских газет стало известно, что, отвечая на поступившие заявления родственников, ГВП РФ с ноября 2005 г. отказывается признавать узников, расстрелянных органами НКВД СССР в ходе «Катынского преступления», жертвами политических репрессий и реабилитировать — ссылаясь на то, что в ходе расследования Главной военной прокуратурой «не было установлено, на основании какой статьи Уголовного кодекса (...) были привлечены к уголовной ответственности указанные лица».

С 25 мая по 2 октября 2006 г. «Мемориал» направил Главному военному прокурору (А.Н.Савенкову и затем сменившему его на этом посту С.Н.Фридинскому) заявления о реабилитации как жертв политических репрессий:

- семи польских офицеров, расстрелянных и захороненных в Катыни (Леопольда Лоека, Болеслава Подсендовского, Антония Павлюца, Владислава Козелл-Поклевского, Зигмунта Суловского, Винцентия Гурского и Станислава Карнковского),

- а также четырех польских полицейских, расстрелянных в Калинин и захороненных в Медном (Леона Томбака, Яна Борковского, Романа Валиевского и Гжегожа Косцюка).

За помощью в реабилитации перечисленных 11 лиц в общество «Мемориал» обратились их родственники.

12 июля 2006 г. «Мемориал» направил Генеральному прокурору РФ Ю.Я.Чайке письмо с обжалованием поступивших к этому времени отказов ГВП реабилитировать Л.Лоека, Б.Подсендовского, Л.Томбака, Я.Борковского и Р.Валиевского. Вместо Генерального прокурора на нашу жалобу ответила все та же ГВП, которая своим письмом от 31 августа 2006 г. отказалась рассмотреть по существу вопрос о реабилитации перечисленных лиц, так как в их отношении «отсутствуют уголовные дела, иные сведения, на основании которых к ним применялись меры государственного принуждения» и, к тому же, «в ходе следствия останки названных граждан среди обнаруженных, эксгумированных и исследованных трупов польских военнопленных, содержащихся в лагерях НКВД СССР, не идентифицированы».



2 октября 2006 г. «Мемориал» по собственной инициативе (а не на основании писем родственников) направил в ГВП заявления о реабилитации еще двух польских офицеров, расстрелянных и захороненных в Катыни (Богдана Баньковского и Станислава Гарлинского), а также трех польских полицейских, расстрелянных в Калинин и захороненных в Медном (Мартин Свидерского, Люциана Райхерта и Вацлава Слаболепши). В случае этих пяти лиц имеются дополнительные документальные свидетельства того, что они являются жертвами «Катынского преступления», ибо персональные данные двух первых из них были установлены не только в результате немецкой эксгумации весной 1943 г., но и в результате советской эксгумации в Катыни в январе 1944 г. (в рамках расследования «комиссией Бурденко»), а персональные данные трех других установлены в результате эксгумации в Медном, проведенной в августе 1991 г. следственной группой ГВП СССР.

Заявления «Мемориала» от 2 октября 2006 г. о реабилитации пяти последних лиц, а также упомянутых выше З.Суловского, В.Гурского и С.Карнковского содержали просьбу — в случае отказа в реабилитации составить заключения об отсутствии оснований для реабилитации и направить их в суд, как это предусмотрено законом РФ о реабилитации жертв политических репрессий.

9 и 17 октября 2006 г. такая же просьба отправлена «Мемориалом» и в отношении восьми расстрелянных польских граждан, отказы в реабилитации которых были получены ранее.

6 февраля 2007 г. «Мемориал» подал в Хамовнический районный суд г. Москвы десять заявлений, оспаривающих действия ГВП, которая 7 ноября 2006 г. десятью письмами отказала в составлении и направлении в суд заключений об отсутствии оснований для реабилитации 16 вышеперечисленных польских граждан. Общество «Мемориал» просило Хамовнический суд признать решение ГВП незаконным и обязать ГВП выполнить закон о реабилитации жертв политических репрессий, а именно: либо выдать справки о реабилитации лиц, по поводу которых обращался «Мемориал», либо передать в суд дела о реабилитации этих лиц с заключениями ГВП об отказе в реабилитации.

К сожалению, федеральные судьи И.В.Тюленев, Т.Ю.Павлюкова и И.В.Кананович 15, 16 и 19 февраля 2007 г. вынесли определения об отказе в принятии заявлений «Мемориала» к рассмотрению. Позиция названных судей сводится к тому, что «Мемориал», будучи общественной организацией, хоть и имеет право обращаться с заявлениями о реабилитации тех или иных репрессированных лиц, но не имеет права оспаривать в суде решения государственных органов об отказе в реабилитации этих лиц.

Мы считаем, что отказы ГВП направить в суд заключения об отсутствии оснований для реабилитации лиц, по поводу которых обращалось общество «Мемориал», а также отказы Хамовнического районного суда рассмотреть наши заявления, оспаривающие незаконные действия ГВП, нарушают наше конституционное право на правосудие, закрепленное в ст. 46 Конституции РФ.

Общество «Мемориал» намерено использовать все доступные правовые пути, чтобы добиться реабилитации жертв «Катынского преступления» как репрессированных по политическим мотивам.

Историческая справка:

К ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ КАТЫНСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Предыстория «Катынского преступления»

23 августа 1939 года СССР и Германия заключили договор о ненападении. Этот договор, вошедший в историю под названием «пакт Риббентропа—Молотова», включал секретный протокол о разграничении сфер интересов, согласно которому, в частности, Советскому Союзу отходила восточная половина территории довоенного польского государства.

Через 9 дней после заключения пакта, 1 сентября 1939 г., нацистская Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Еще через две с небольшим недели, 17 сентября 1939 г., в Польшу вторглась и Красная армия — без объявления войны Советским Союзом, невзирая на действовавший договор о ненападении между СССР и Польшей, в разгар отчаянных попыток Войска Польского остановить стремительное продвижение немецкой армии в глубь страны. Советская пропаганда объявила акцию Красной армии «освободительным походом в Западную Украину и Западную Белоруссию».

Наступление Красной армии стало для поляков полной неожиданностью. Некоторые не исключали даже, что ввод советских войск может быть направлен против германской агрессии. Понимая обреченность Польши в войне на два фронта, польский главнокомандующий издал приказ не вступать в бой с советскими войсками, допуская возможность сопротивления только при попытках разоружения польских частей. В действительности сопротивление Красной армии оказали лишь немногие польские части. До конца сентября 1939 г. Красной армией были взяты в плен 240–250 тысяч польских солдат и офицеров, а также пограничников, служащих полиции, жандармерии, тюремной стражи и других ведомств. Не имея возможности содержать столь огромную массу пленных, после разоружения половину из них (но только рядовых и унтер-офицеров) сразу распустили по домам, а остальных Красная армия передала в десяток специально созданных лагерей военнопленных НКВД СССР.



Но и лагеря НКВД оказались перегруженными. Поэтому в октябре–ноябре 1939 г. из лагерей отправили большинство рядовых и унтер-офицеров: жителей территорий, захваченных Советским Союзом, распустили по домам, а жителей территорий, оккупированных немцами, по договоренности об обмене пленными передали Германии (Германия же взамен передала Советскому Союзу захваченных в плен немецкими войсками польских военнослужащих-украинцев и белорусов, жителей территорий, отошедших к СССР). В советском плену остались около 25 тысяч польских рядовых и унтер-офицеров. Кроме них не подлежали роспуску по домам и передаче Германии **армейские офицеры** (около 8,5 тысячи человек), которых сосредоточили в **двух лагерях военнопленных** — **Старобельском** в Ворошиловградской (ныне Луганской) области и **Козельском** в Смоленской (ныне Калужской) области, а также **пограничники, полицейские, жандармы, служащие тюремной стражи** и т.п. (около 6,5 тысячи человек), которых собрали в **Осташковском лагере военнопленных** в Калининской (ныне Тверской) области.

5 марта 1940 года было принято **решение Политбюро ЦК ВКП(б) о расстреле «находящихся в лагерях для военнопленных 14.700 польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков», а также 11.000 арестованных и содержавшихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии «членов различных контрреволюционных шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков»**. Формальной и текстуальной основой для решения Политбюро от 5 марта 1940 г. явилась записка народного комиссара внутренних дел СССР Берии в ЦК ВКП(б) Сталину, в которой расстрел перечисленных категорий польских пленников и заключенных предлагался **«исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти»**. На этой записке имеются собственноручные подписи членов Политбюро Сталина, Ворошилова, Молотова и Микояна, а также отметки о голосовании «за» Калинина и Кагановича.

Расстрел

Казнь польских военнопленных и заключенных, перечисленных в решении Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г., была осуществлена в апреле и мае того же года.

Все узники Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей военнопленных (кроме 395 человек) **были отправлены этапами примерно по 100 человек в распоряжение управлений НКВД по Смоленской, Калининской и Харьковской области, которые осуществляли расстрелы по мере прибытия каждого этапа.**

Параллельно осуществлялись расстрелы заключенных тюрем западных областей Украины и Белоруссии.

395 военнопленных, не включенных в расстрельные предписания, отправили в Юхновский лагерь военнопленных в Смоленской области. Затем они были переведены в Грязовецкий лагерь военнопленных в Вологодской области, из которого в конце августа 1941 г. были переданы на формирование польской армии в СССР.

Последующие события

22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. Вскоре, 30 июля 1941 г., было заключено советско-польское соглашение о признании недействительными советско-германских договоров 1939 г., касающихся «территориальных перемен в Польше», восстановлении дипломатических отношений между СССР и Польшей, образовании на территории СССР польской армии для участия в войне против Германии и об освобождении всех польских граждан, находившихся в СССР в заключении в качестве военнопленных, арестованных или осужденных, а также содержащихся на спецпоселении.

За этим договором последовал указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941 о предоставлении амнистии польским гражданам, находившимся в заключении или на спецпоселении (к тому времени их было около 390 тысяч), и затем советско-польское военное соглашение от 14 августа 1941 г. об организации польской армии на территории СССР. Армию планировалось сформировать из амнистированных польских граждан, прежде всего из бывших военнопленных, ее командующим был назначен генерал Владислав Андерс.

Осенью 1941 — весной 1942 гг. польские официальные представители неоднократно обращались к советским властям с запросами о судьбе более 8 тысяч пленных офицеров, не прибывших к местам формирования армии Андерса. Советские представители отвечали, что сведений о них нет. 3 декабря 1941 г., на личной встрече в Кремле с польским премьер-министром генералом Владиславом Сикорским, Сталин предположил, что эти офицеры, возможно, сбежали в Манчжурию.

(К концу лета 1942 г. армия Андерса была эвакуирована из СССР в Иран, в дальнейшем она приняла участие в операциях союзников по освобождению от гитлеровцев Италии).

13 апреля 1943 г. германское радио официально сообщило об обнаружении в Катыни под Смоленском захоронений польских офицеров, расстрелянных советскими властями. 15 апреля 1943 г. последовало официальное опровержение Совинформбюро, согласно которому польские военнопленные летом 1941 г. были заняты на строительных работах западнее Смоленска, попали в руки немцев и были ими расстреляны.



С конца марта по начало июня 1943 г. германская сторона при участии технической комиссии Польского Красного Креста [и международной комиссии экспертов-медиков. — *Ред.*] провела эксгумацию в Катыни. Были извлечены останки 4243 польских офицеров, установлены персональные данные 2730 из них по обнаруженным личным документам. Трупы были перезахоронены в братские могилы рядом с первоначальными захоронениями, а результаты эксгумации в июне того же года опубликованы в Берлине в книге «Amtliches Material zum Massenmord von Katyn».

25 сентября 1943 г. Красная армия освободила Смоленск от немцев. Только 12 января 1944 г. была создана советская «Специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров», председателем которой назначили академика Н.Н.Бурденко. Однако уже с начала октября 1943 г. работники НКВД-НКГБ СССР готовили фальсифицированные «доказательства» ответственности германских властей за расстрел польских офицеров. Согласно официальному сообщению, советская эксгумация в Катыни была проведена с 16 по 26 января 1944 г. по указанию «комиссии Бурденко». Из вторичных могил (оставшихся после немецкой эксгумации) были извлечены останки 1380 человек, по найденным документам комиссия установила личные данные 22 человек. 26 января 1944 г. в газете «Известия» было опубликовано официальное сообщение «комиссии Бурденко» с заключением, что военнопленные поляки, находившиеся летом 1941 г. в трех лагерях западнее Смоленска и оставшиеся там после вторжения германских войск в Смоленск, были расстреляны немцами осенью 1941 года.

Для закрепления этой версии СССР попытался использовать Международный военный трибунал (МВТ), судивший в 1945-1946 гг. в Нюрнберге главных нацистских военных преступников. Однако, заслушав 1-3 июля 1946 г. показания свидетелей защиты (представленных немецкими адвокатами) и обвинения (представленных советской стороной), ввиду очевидной неубедительности советской версии МВТ принял решение не включать катынский расстрел в свой приговор в качестве одного из преступлений нацистской Германии.

В декабре 1952 г. было опубликовано заключение заседавшей с 1951 г. специальной комиссии Палаты представителей Конгресса США под председательством Р.Мэддена, основанное на показаниях свидетелей и изучении документов, — о том, что «НКВД СССР совершил массовые убийства польских офицеров и представителей интеллигенции в Катынском лесу, в России, близ Смоленска».

3 марта 1959 г. председатель КГБ при Совете Министров СССР А.Шелепин направил первому секретарю ЦК КПСС Н.С.Хрущеву совершенно секретную записку, подтверждавшую, что 14.552 пленных офицеров, жандармов, полицейских «и т.п. лиц бывшей буржуазной Польши», а также 7305 заключенных тюрем Западной Украины и Западной Белоруссии были расстреляны в 1940 г. на основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. (в том числе 4421 человек — в Катынском лесу). В записке предлагалось уничтожить все учетные дела на расстрелянных лиц.

Между тем, на протяжении всех послевоенных лет, вплоть до 1980-х, МИД СССР многократно предпринимал официальные демарши с утверждением об установленной ответственности гитлеровцев за расстрел польских военнослужащих, захороненных в Катынском лесу.

Советский Союз признал вину только через полвека после уничтожения пленных польских офицеров — 13 апреля 1990 г. было опубликовано официальное заявление ТАСС о «непосредственной ответственности за злодеяния в катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных», что квалифицировалось как «одно из тяжких преступлений сталинизма». Тогда же президент СССР М.С.Горбачев передал президенту Польши В.Ярузельскому списки расстрелянных польских военнопленных (формально это были списки-предписания на отправку этапов из Козельского и Осташковского лагерей в распоряжение УНКВД по Смоленской и Калининской области, а также список учетных дел убитых военнопленных Старобельского лагеря) и некоторые другие документы НКВД.

В том же году прокуратура Харьковской области возбудила уголовные дела: 22 марта — по факту обнаружения захоронений в лесопарковой зоне Харькова, а 20 августа — в отношении Берии, Меркулова, Сопруненко (бывшего в 1939-1943 гг. начальником Управления НКВД СССР по делам о военнопленных), Бережкова (начальника Старобельского лагеря военнопленных НКВД СССР) и других сотрудников НКВД. 6 июня 1990 г. прокуратурой Калининской области было возбуждено еще одно дело — о судьбе польских военнопленных, содержавшихся в Осташковском лагере и бесследно исчезнувших в мае 1940 года. Эти дела были переданы в Главную военную прокуратуру (ГВП) СССР и 27 сентября 1990 г. приняты ею к производству под №159. ГВП образовала следственную группу во главе с А.В.Третьекиным.

В 1991 г. следственной группой ГВП и польскими специалистами были проведены частичные эксгумации:

- с 25 июля по 7 августа в 6 квартале лесопарковой зоны г. Харькова были извлечены останки не менее 167 человек, по найденным документам и опознавательным знакам установлены персональные данные 7 человек;
- с 15 по 29 августа на территории дачного поселка УКГБ по Тверской области в 2 км от поселка Медное, в присутствии представителей общества «Мемориал» извлечены останки 243 человек, по найденным документам установлены личные данные 19 человек;
- 20-21 ноября в Катынском лесу извлечены останки еще 13 человек.



Основным результатом эксгумаций 1991 г. стало **окончательное установление** в процессуальном порядке мест захоронений расстрелянных польских узников Старобельского и Осташковского лагерей военнопленных.

Через год, 14 октября 1992 г., впервые были обнародованы и переданы Польше документы, изобличающие руководство СССР в совершении «Катынского преступления» — вышеупомянутое решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. о расстреле польских узников, «постановочная» записка Берии к этому решению, адресованная Сталину (с собственноручными подписями Сталина, Ворошилова, Молотова и Микояна, а также отметками о голосовании «за» Калинина и Кагановича), записка А.Шелепина Н.С.Хрущеву от 3 марта 1959 г. и другие документы «особого пакета № 1» из Президентского архива. **Впервые были получены документальные доказательства того, что жертвы «Катынского преступления» были казнены по политическим мотивам — как «закоренелые, несправимые враги советской власти».** Также впервые стало известно, что были расстреляны не только военнопленные, но и заключенные тюрем западных областей УССР и БССР. Решение Политбюро от 5 марта 1940 г. предписывало расстрелять 14700 военнопленных и 11 тысяч заключенных. Из записки Шелепина Хрущеву следует, что военнопленных примерно столько и расстреляли, а заключенных было расстреляно лишь 7305 человек. Причина «недовыполнения» неизвестна.

5 мая 1994 г. зам. начальника Службы безопасности Украины генерал А.Хомич передал заместителю генпрокурора Польши С.Снежко поименный алфавитный список 3435 заключенных тюрем западных областей УССР с указанием номеров предписаний, которые, как известно с 1990 г., означали отправку на расстрел. Список сразу же был опубликован в Польше, и стал условно именоваться **«украинским списком».**

«Белорусский список» до сих пор неизвестен. Если «шелепинское» число расстрелянных заключенных верно, и если обнародованный «украинский список» полон, то в «белорусском списке» должны значиться $7305 - 3435 = 3870$ человек. Таким образом, к настоящему времени нам известны персональные данные 17.987 жертв Катынского преступления, а 3870 жертв (заключенные тюрем западных областей БССР) остаются безымянными. Места захоронения достоверно известны только для 14.552 расстрелянных военнопленных.

13 июня 1994 г. руководитель следственной группы ГВП А.Ю.Яблоков (сменивший А.В.Третьякова) вынес постановление о прекращении уголовного дела на основании ст.5 п.8 УПК РСФСР (за смертью виновных), причем в постановлении **Сталин, члены Политбюро Молотов, Ворошилов, Микоян, Калинин и Каганович, Берия с другими руководителями и сотрудниками НКВД, а также исполнители расстрелов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б», «в» статьи 6 устава Международного военного трибунала в Нюрнберге (преступления против мира, человечества, военные преступления), и в геноциде польских граждан.** Именно такая квалификация катынского дела уже была дана советской стороной в 1945–1946 гг. при внесении этого дела на рассмотрение МВТ (который затем отказался от включения катынского дела в приговор против нацистов).

Руководство ГВП и Генпрокуратуры РФ через три дня отменило постановление Яблокова и поручило дальнейшее расследование другому прокурору.

В 2000 г. были открыты польско-украинский и польско-российские мемориальные комплексы на местах захоронений расстрелянных военнопленных: 17 июня в Харькове, 28 июля в Катыни и 2 сентября в Медном.

21 сентября 2004 г. Главная военная прокуратура РФ прекратила уголовное дело №159 на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ за смертью виновных. Виновными признаны «ряд конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР», чьи действия квалифицированы по п. «б» ст.193-17 УК РСФСР (превышение власти лица начальствующего состава РККА, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств).

Через полгода, 11 марта 2005 г., **Главный военный прокурор А.Н.Савенков** на своей пресс-конференции публично заявил о прекращении «Катынского дела» и **объявил государственной тайной персональный состав виновных.** А.Н.Савенков сообщил, что постановление о прекращении уголовного дела и (некоторые) документы, встречающиеся в 36 томах уголовного дела, имеют гриф «секретно» и «совершенно секретно», а в 80 томах встречаются документы с грифами «для служебного пользования». На этом основании доступ к 116 томам закрыт. В 67 томах никаких грифов нет. Осенью 2005 г. с этими 67 томами были ознакомлены (без права копирования) польские прокуроры.



Константин Кедров

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ, ИЛИ КАПРИЗЫ ИСТОРИИ

4 ноября 1612 года — поистине черный день календаря. Москва, и без того одуревшая от бесчинств, была отдана на разграбление, и никаких не поляков, а так называемых «своих». На улицах валялись трупы именитых москвичей, которые безуспешно пытались урезонить толпу. Все это подробно описано и у Карамзина, и у Соловьева, и у Ключевского. Академик Янин справедливо назвал «элементарным невежеством» именование 4 ноября днем конца смуты. Смута была в разгаре. Погром Китай-города хотят объявить всенародным праздником. Очередная культурно-историческая нелепость.

Говорится, что 4 ноября страна-де начала освобождаться от польской интервенции. Здесь одна нелепость громоздится на другую. Никакой польской интервенции в Москве не было. Немногочисленный отряд наемников, приглашенный правительством, был обыкновенной гвардией. С таким же успехом интервентами можно назвать отряд латышских стрелков, охранявших Ленина. Но правительство Ленина власть захватило путем вооруженного переворота. В Москве 1612 г. правило русское боярство, присягнувшее вместе со всей страной польской короне. Поляков призвали, как в свое время Рюриков, для восстановления государственности.

Другое дело, что поляки с этой задачей в отличие от Рюриков не справились. Русь грабили в основном свои. Об этом у Алексея Константиновича Толстого:

*Пришли тогда казаки,
Поляков привели.
Пошел сумбур и драки,
Поляки и казаки,
Казаки и поляки
Нас паки бьют и паки,
Мы ж без царя, как раки,
Тоскуем на мели.*

4 ноября ополченцы Минина и Пожарского вместе со всем этим сбродом зачем-то осадили Кремль и выкурили оттуда правящих бояр, среди которых были и Романовы. Поначалу всех хотели убить, но слава Минину — он сумел охладить пыл толпы. Романовы и все остальные на этот раз уцелели. Попутно поубивали зачем-то поляков, которые просто выполняли свой долг, честно служа русскому правительству. Разумеется, могут быть какие угодно трактовки и нюансы, но всякий мало-мальски исторически образованный человек знает, что ополченцы Минина и Пожарского, кстати, тоже немало погра-



бившие и пожегшие, призваны были избавить страну не от поляков, а от смуты, в которую она погрузилась после падения чикатильской диктатуры Ивана Грозного и опричника Годунова. В смуту страну погрузил именно Грозный, отдав население на разграбление сатанистам-опричникам.

Почему день, когда толпа в очередной раз ворвалась в Китай-город, надо считать национальным праздником, это знают только депутаты, принявшие странный закон. Что? Опять Кремль осаждать?

Разумеется, польские наемники были, как всякие солдаты в чужой стране, отнюдь не ангелы. Были у Руси свои споры с Польшей вокруг Смоленска. А с кем их не было? Бродили по стране вместе с казаками и беглыми крестьянами и польские разбойники. Но никакой интервенции, никаких регулярных военных действий против Руси в целом быть не могло по очень простой причине: страна, доведенная до отчаяния диктатурой последнего Рюриковича и смутами, совершенно добровольно поцеловала крест польскому королю. Среди целовавших были и Романовы, которых 4 ноября ополченцы намеревались просто прикончить. После этого еще целый месяц продолжалась осада Кремля.

Примирение состоялось только после того, как всеобщий собор после многодневных споров и прений остановил свой взор на весьма захудалом к тому времени роде и провозгласили царем Михаила.

Насколько Русь после этого «примирилась», можно судить по всенародному восстанию во главе с тогдашним авторитетом Стенькой Разиным. Душегубом под стать Ивану Грозному. Утвердить 4 ноября как праздник значит поощрить погром Москвы и прочие уличные бесчинства, которые чуть не погубили страну.

У нас славная и очень богатая история. В ней хватает и подвигов, и действительно славных дат. Но 4 ноября 1612 года — день не менее страшный, чем 7 ноября 1917-го. И там, и там вооруженные толпы врываются во дворец, а зачем — и сами не знают. Ясное дело, чтобы поубивать и пограбить. Какое уж тут национальное примирение. На Руси были настоящие примирители — Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский. Был царь-освободитель Александр II. Почему бы дату отмены крепостного права не праздновать как великий день избавления страны от крепостного рабства? Да мало ли других событий, не выдуманных, а настоящих.

Раньше говорили: история — это ложь, о которой договорились историки. На сей раз договорились депутаты. Получается не день освобождения от мифической интервенции, а день освобождения от здравого смысла.

Константин Кедров родился в 1942 году в городе Рыбинске. Поэт, философ, кандидат филологических наук, доктор философских наук, член Союза писателей Москвы, член русского Пен-клуба.



Лешек Шаруга

СЛОВА ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

После «Блокнота» Рышард Капустинский подарил нам очередной поэтический сборник — «Законы природы» (Краков, Выдавництво литерацке [Литературное издательство], 2006). Так и подмывает почти автоматически сказать что-то вроде: вот выдающийся репортер, не имея возможности до конца высказаться в пределах своего жанра, нашел в поэзии своеобразное «дополнение», позволяющее выразить полноту опыта. Это суждение верно, но в то же время обманчиво, поскольку автор «Черного дерева» отлично отдает себе отчет в суверенности поэтического мира. Уже в титульном стихотворении он приглашает нас в путешествие по «нереальной» стране: «после жизни — смерть / на краю солнечной долины / Стикс и мрак ледяной». Но сразу же добавляет: «география — понятие субъективное / нечто вроде условности». Это касается как здешнего мира, так и потустороннего. Ибо везде действует один и тот же принцип:

*Дорога
когда она пройдена
исчезает за спиной
перестает существовать*

Если б я должен был указать на основную черту героя этих стихов, я указал бы на его одиночество или даже сиротство. Но одиночеству неизменно сопутствует открытость по отношению к другим, попытка сострадания и чувство, что герой не на высоте того вызова, каким является другой человек. Вот очередной «закон природы»:

*Неподвижные и молчаливые
мы всё больше замыкаемся в себе
поодиночке*

Обособленность и анонимность: «мы не знаем / он это / или кто-то другой // и // кто // это такой». Мы узнаём это, только когда приходится расставаться навеки, как в стихотворении о несостоявшейся, хоть и назначенной встрече: «Рассеянный / я не обратил внимания / что он говорит со мной / уже из иного мира». Мир поэзии — это и мир общности, и мир отдельности, что полнее всего выражает такой расплывчатый на строчки афоризм: «Поэзия это что-то такое / в некоторых людях / время от времени / что-то внутри // Это не имеет ничего общего / ни с чем». Поэзия — это нечто, чем человек иногда отмечен, она одновременно осязаема и неуловима, она нечто, что отличает его, определяет его неповторимость и несравнимость ни с чем иным. О том, насколько поэзия неуловима, свидетельствует цепочка неопределенных местоимений, а также использование в финале усилительной негативной конструкции. Поскольку, как сказано в другом стихотворении, «всё носит на себе / клеймо обратного знака». Такое клеймо для человека — о чем читаем уже в самом стихотворении, — история. Однако и история в конце концов оказывается понятием субъективным. Ее доводы теряют смысл на фоне человеческой боли и страдания, с которыми слово не может совладать. Отсюда требование этой поэзии, сформулированное в стихотворении, открывающем книгу:

*слова должны быть под подозрением:
ведь они устанавливают фальшивые дорожные указатели
ведут в тупики
вводят во искушение*



* * *

Моя боль

всё готовит мне нож
всё точит его

куда вонзит?
сразу в сердце?



* * *

Я написал камень
написал дом
написал город

я расколол камень
разрушил дом
уничтожил город

на карте следы борьбы
меж
созиданьем и гибелью





По обе стороны океана

Есть пространство
наполненное водой
рыбами
свинцовой серостью

дугобразная линия:
самолёт тяжело поднимается
потом я чувствую как он падает

и мы уже далеко друг от друга

между стартом и приземлением —
рассеченные жилы

тяжесть век
онемевшие пальцы

* * *

Мне снилось что мы лежим на лугу
а ведь мы не лежали на лугу
мне снился лес
кто-то стоял на опушке
смотрел на нас
а ведь не было леса никто не смотрел
мы были где-то ещё
но сон о том где мы были
никак не хотел присниться



* * *

Дорога
когда она пройдена
исчезает за спиной
перестает существовать

география — понятие субъективное
нечто вроде условности



* * *

Собственно что я должен был сделать сказать — ведь я
не сказал — да

Так началось падение вниз и вниз

Да о чём тут говорить

Из сборника «Законы природы»,
Wydawnictwo Literackie 2006





Петр Войцеховский

Перевод Ирины Адельгейм

СЕНТЯБРЬ

Отрывок из нового романа «Дождись новолуния»

На Польшу надвигается сентябрь и задувает первый холодный ветер. Ветки разросшегося жасмина метут по окнам туалета. Гуру, которому в этой повести не досталось имени, видит в зеркале свое лицо. У него старательно подстриженные каштановые волосы, гладкие щеки, едва наметившиеся морщинки в уголках глаз, твердый подбородок, полные губы, имеющие несколько дерзкое выражение, мелковатый нос. Физиономия не то любовника из сериала, не то забияки из дурного района.

Он закончил бриться, протер лицо одеколоном, задул свечку у зеркала. Голым прошел по коридору ашрама, отодвинул занавеску, отделявшую спальню девушек. Они спали на полу, на матах, под тонкими одеялами. Одна закашлялась. Перед статуэткой многорукого божества в ожерелье из черепов горели ароматные палочки. Гуру погасил их, взял с полки запасные одеяла и прикрыл трех девушек, спавших с той стороны, где он стоял. Та, что лежала рядом с Людкой, проснулась.

— Что случилось? — спросила она голосом доверчивого ребенка.

— Поднялся холодный ветер, — ответил гуру. — Повторяй священную мантру, и сразу заснешь.

Он ушел. Девушка с открытыми глазами прислушивалась к порывам ветра. Потом ее губы стали шевелиться.

— Ом мани падме хумн ... Ом мани падме хумн...

Над одноэтажным деревянным строением, окруженным забором из проволоочной сетки, раскачивались высокие тополя и кусты можжевельника. Листья тополя и можжевельниковые иголки были мокрыми, поэтому когда из-за туч на мгновение показался полумесяц, на ветках засияла трепещущая сеть отсветов.

Людку разбудили шаги. Она почувствовала тяжесть второго одеяла. Услышала шепот, священную мантру. Принялась ее повторять и уже не могла уснуть. Она была голодна, голова болела. Людка чувствовала, что недостаточно любит ашрам и всех его обитателей. Они ее, наверное, тоже не любят, а стало быть, ничего хорошего из этого не выйдет. Людка, однако, полагала, что все ее физические и психические страдания — недорогая цена. За бесценно она получает нечто великое, важное, вечное. Гуру не одобряет таких мыслей, он велит думать мгновениями, предельным вниманием дарить секунды настоящего, словно лепестки цветка — опадающие, но все еще прекрасные в своем полете. Где-то там Людка была прежде — безработная, брошенная, обременительная, а здесь она — легчайшее, прекрасное ничто. Вы никогда не были детьми, никогда не станете старыми, вы существуете сейчас, а сейчас — всего лишь скорлупка иллюзии на ореховом ядрышке, на сладком всегда-никогда.

А значит, ее детство может укрыться в сладком никогда, значит, она может видеть, как трепещут листья над дорогой в школу в Тчеве, потом в Сухой, потом снова в Тчеве. Они носили в рюкзаках дневнички, обменивались кассетами с записями любимых ансамблей, ходили в кино на фильмы о любви, а иногда — в костел на майские богослужения. Она и ее подружки-одноклассницы. Все это казалось им подлинным, но подлинным временно. Ведь жили они — в ожидании жизни, и с мальчиками встречались — в ожидании любви. Даже те, что уже имели постоянных парней и жили с ними, знали, что все рассыплется. Должно распасться, чтобы освободить путь другим дням, другим губам, другим объятиям. Она была, наверное, самой глупой из них, потому что ждала дольше, а когда появился Михал, позволяла себе думать, что это навсегда. Благословенная глупость, ведь без нее она не обрела бы великого покоя ашрама.



* * *

— Помнишь, моряк, визит в Россию? Я глядел на эти шеренги доблестных мальчишек, на шеренги кадетов наших лучших в мире американских военно-морских школ. Глядел на их командиров и преподавателей. Они стояли и ждали по стойке смирно, пока я пожму руку русскому адмиралу, а потом капитану школьного брига «Адмирал Нахимов». Я думал об их безмятежности. Они уверены, что в России наступила стабилизация, и в переменах там никто не заинтересован. Полагаю, только двоим у нас известно, что дело обстоит иначе — мне и кадету Майклу Фирли из Польши. Если все эти доблестные американцы вообще думали о России. Возможно, их мысли были заняты кетчупом на картофеле-фри.

Перси умолк и потянулся за бумажным стаканчиком с кофе.

Старый командор Лорент Перси сидел на современном, эргономичном, вращающемся кресле, отодвинутом далеко в сторону от стола с ноутбуками и телефонами. Он был крупный и некрасивый. Физиономия красная, усы, брови и волосы — белые, нос клецкой — небось, боксировал в юности. Коричневая трикотажная рубашка и джинсовый комбинезон в тонкую белую и серую полоску, невыгодно обтягивающий толстый живот.

Они разговаривали в одном из служебных помещений комендатуры морской базы в Сан-Диего — просторном, застекленном и сильно кондиционированном. На длинном конференц-столе были разложены карты, лежали папки с документами.

Руководитель проекта велел Майклу сесть за стол на вращающееся кресло. Майкл не знал, зачем ему приказали прибыть на базу и почему с ним говорит командор, руководивший базой более десяти лет назад, ныне на пенсии. Теперь, оказывается, он возглавляет проект. Перси вгляделся в глаза Майкла. Они были светло-голубые, белки все в красных прожилках.

— А ведь каждому под силу залезть в Интернет и извлечь оттуда целый ворох статистических данных, результатов опросов, оценок экспертов, верно?

Майкл утвердительно кашлянул и попытался понимающе улыбнуться офицеру в гражданской одежде, над которым висел портрет господина с бакенбардами. Тот, на портрете, был одет в мундир с золотыми позументами, на груди — звезда.

— Ворох данных о судьбах флотилии атомных подводных лодок, о базе в Андреевке под Мурманском, о могильниках с ядерными отходами, которые... — Перси небрежно махнул рукой. — Не будем об этом. Достаточно репортажа о положении бывших совхозов, верно? Или о долларовых потоках из России в западные банки. Наш сценарий — резервный, и тебе, моряк, следует об этом знать. На случай, если там попытаются при помощи демократии расправиться с демократией. Америке, которая вступила в бессрочную войну с мировым терроризмом, такой поворот ни к чему. Америке нужна Россия, крепко стоящая на обеих ногах.

Командор Перси потянулся к бумажному стаканчику и медленно, словно собираясь с мыслями и подбирая аргументы, выпил холодный кофе.

— Что я тут делаю? — думал Майкл. — Он говорит со мной так, словно я советник президента по делам безопасности. Я всего-навсего польский солдат, офицер невысокого ранга, попавший в неприятную историю в морской школе в Монтерее. Как польский военный я союзник Америки по войне в Ираке — в определенном смысле. Кто такой Перси? Пенсионер — оказывается, уже бывший, — замешанный в глобальные аферы, которыми должна заниматься разведка, а не экономисты Военно-морского флота США. Похоже, все время у агентов разведки и ЦРУ отнимает ловля броневетов в поясах смертников.

— Сценарий наш — резервный, — повторил командор. — На случай, если хаос... Погоди, вот у меня тут текст этого русского писателя, нашего эксперта. Ага, нашел, — Перси застучал по клавишам ноутбука и прочитал то, что высветилось на экране:

— «Если бы хаос залил последние островки богатства и бюрократии потоками мрака и железа, потоками голодных и жаждущих мести толп. Если бы православная Церковь и верные казаки нуждались в помощи. Если б нужно было вернуть миру Россию, стражницу Азии...» Они всегда так выпрени не пишут? «Потоками мрака и железа...» А вообще-то неплохо!



— Россия теперь дышит покоем, — вспомнил Майкл Фирли слова князя Романова. — Среди православного духовенства преобладают конституционные демократы. Ясное дело, в младшем поколении духовных лиц. Вся Россия движется к Западу.

В компьютерном досье Военно-морского флота отметки по русскому языку и знанию России у кадета Майкла Фирли стояли хорошие. Это позволило ему оказаться в числе гостей садового party и беседовать с представителем дома Романовых. А впервые человека, которого Перси назвал князем, Майкл Фирли видел вблизи во время торжественной встречи российского школьного корабля, стоя по стойке «смирно». Видел, как тот облачивается о мраморный цоколь памятника тихоокеанским путникам и наблюдает за церемонией. Князь, стройный, чуть сутулящийся мужчина сорока лет, одетый с изысканной и свободной элегантностью богатого европейца. Правнук дяди последнего царя Всея Руси. Или правнук двоюродного брата царя...

Дмитрий Романов смотрел, как парни с «Адмирала Нахимова» салютуют звездно-полосатому флагу, а затем российскому флагу с двуглавым орлом, и улыбка на его гладком бледном лице попеременно зажигалась и гасла.

В саду отеля «Роза Уилмор» польскому кадету предоставили возможность свободно беседовать с высоким гостем четверть часа, если не больше.

— Россия движется к Западу под парусами былых знамен, — говорил князь польскому кадету. Они шли по гравиевой дорожке, и князь останавливался через каждые несколько шагов, чтобы пригубить из бокала с вином. — Те красные знамена, с серпом и молотом, выглядели вечно-победными. Теперь они продаются в антикварных магазинах, даже на базарах, вместе с поддельными «буденовками», бюстами Ленина и орденами Героя Советского Союза. Мои тетки иногда бывают в России. Их пригласили на юбилей Петербурга. Меня тоже. Я не поехал. Как и на траурные торжества в Петербург. Предпочитаю прислушиваться к политической шумихе издали. Мое амплуа — буржуазное житейское коммерсанта. Милостью Божьей в моих магазинах есть иконы. Они говорят со мной, а я — с ними.

Тут Перси как раз и заговорил о князе:

— Честно говоря, шансов у князя не слишком много. Это уже человек западного образца, ловкий бизнесмен, привыкший к комфорту. Может, он и связан с православием и Россией, но не в ущерб себе, этак стереотипно-сентиментально. Тут, в Европе, в среде русской аристократии он пользуется уважением, но с оговорками. Русский писатель, наш эксперт, сформулировал это так: кровь рода Романовых уже смешалась с кровью аристократических родов, с примесью второстепенных балканских династий.

У него не было бы шансов, если бы не Перси, — подумал Фирли. — Если бы не то, что он вновь востребован историей, а его личное дело вместе с данными нескольких разведок легло на стол командора. За ним шпионили. Выследили. То был спокойный мягкий человек, русский аристократ, ведущий жизнь швейцарского или французского антиквара, но вот его настигло острое гарпуна. С этого клинка упала в водянистую смесь капля тайны. То же произошло и со мной, князь. Я был спокойным парнем, пока однажды, проехав по улочкам и дворам к улице Самаритянка, проехав на велосипеде через варшавскую Прагу в сторону Жеранского канала, не обнаружил наконец двор, заросший цикорием и подорожником. И в этом дворе я увидел кучу ржавой жести, укутанной буйной черной бузиной и диким хмелем.

А период был непростой, весна выпускного класса. За месяц до памятных всем выборов. Тогда такие плакаты висели — с шерифом. Предполагалось, что на поле битвы польских обид появится шериф «Солидарности» и принесет с собой высшую справедливость или, во всяком случае, беспартийный социализм с человеческим лицом.

А еще раньше — надо же, во дворе (быть может, на Инженерной?) — он увидел над входом в подвал дугу, обшивку с еще различной надписью «PULASKI». Там, где зияла дыра с осколками кирпича, крутилось в свое время лопастное колесо речного парохода. Железяку, видимо, тоже подцепили какой-то острой и бросили здесь, за многие километры от реки. Тонны металла. Новейшая история, расшифровать которую уже не под силу даже археологам. Слишком много событий, слишком мало логики. Логика ведь не охраняют крепкие мужики со стволами.



Какая логика в том, что кадету, которого вышибли за плагиат, предлагают участвовать в таинственной миссии? Перси даже не обозначил ее каким-нибудь кодовым названием. Он и не говорил о миссии, предпочитая слово «проект». Сказал: — Немного походишь на яхте, немного позанимаешься политикой.

Кадет Майкл Фирли принял предложение командора. Его могли позорно изгнать из школы, выслать в Польшу и там подвергнуть каким-нибудь дисциплинарным процедурам. Лучше уволиться по собственному желанию. Ведь польским генералам пятно на мундире ни к чему — они командировали перспективного подпоручика, а тот повел себя как сопляк. Попался на списывании. Штабы и комендатуры по обе стороны Атлантики ликвидируют в документах все следы постыдного скандала с плагиатом. Школа сможет по-прежнему принимать студентов из Восточной Европы и получать на это дотации из департамента штата. А он посидит еще в Калифорнии.

Все это снова провернули за его спиной. Как и несколько месяцев назад, когда один из преподавателей элитарной военной школы посоветовал положить в основу проекта статью из британского журнала. Другой обнаружил плагиат и попытался поднять шум. Третий принялся защищать парочку «плагиаторов» — был еще один русский, который попался на том же. Русский исчез, уехал. А он остался, на протяжении недель и месяцев подвешенный в пустоте, отстраненный от занятий, но не лишенный ни крыши над головой, ни мундира, с сохранением ранга и личного номера. А теперь его берет в свою группу командор. В течение нескольких дней ему предстоит снять квартиру где-нибудь в окрестностях Файв-Пойнтс, на холмах над базой. Заполнить десятки страниц анкет для армейского личного дела и всевозможные банковские, иммиграционные и медицинские документы. Он получил направление в центр морской и тропической медицины. И аудиозаписи для занятий русским языком. Предстоит изучать историю России, но главным образом текущую внутреннеполитическую ситуацию, экономику, финансы — словом, всё. Зачем? Задавать вопросы не положено. И по-прежнему единственное, что ему известно: подготовлен запасной сценарий. И в сценарии этом предусмотрена роль для князя Дмитрия.



ТВОРЕЦ ВЫМЫШЛЕННОЙ ИМПЕРИИ

Петр Войцеховский (1938) дебютировал в 1967 г. романом «Каменные пчелы», в котором создал мифическое государство, отчасти напоминающее Австро-Венгерскую монархию, с нечеткими, но отсылающими к реальности пространственно-временными измерениями. Мифологизированное и преобразованное писательской фантазией «прошлое» предстает упорядоченным миром, противопоставленным той хаотической действительности, в которой пребывает рассказчик. Обнажая фигуру повествователя, Войцеховский тем самым обнажает литературный характер своей прозы — так происходит и в следующем его романе — «Череп в черепе» (1970). Можно предположить, что на том этапе — в пространстве литературы, ограниченной цензором, — подобные маркеры, свидетельствовавшие об отсутствии познавательного инструментария для изображения подлинных событий, служили также «предупредительным знаком»: не позволяя писать открыто, цензура заставляет выстраивать некую «заместительную» реальность, своего рода сказку. Поэтому повествователь дебютантского романа говорит: «Мозг устроен таким образом, что индивид способен на четкие действия только в среде, доступной его пониманию (...). Отсюда стремление к упорядочению, упрощению, созданию мифов в тех ситуациях, где для гарантированно верных шагов не хватает информации».

Но если в раннем творчестве Войцеховского подобная неспособность человека находить верные решения объяснялась дефицитом (пропущенной через цензуру) информации, то теперь это следствие ее избытка или перепроизводства. Поэтому неудивительно, что в последнем романе — «Дождись новолуния» (2007) — столь важную роль в жизни героев и самого повествователя играют СМИ. Однако на сей раз описанный в произведении мир не прорастает в прошлое, в миф Австро-Венгрии, а, напротив, «выдается» в будущее: впрочем, незначительно, в тесной связи с сегодняшними реалиями и к ним же отсылая. Если прежде писатель работал в жанре пастиша традиционного политического или шпионского романа, то сегодня речь идет скорее о пастише political fiction в стиле книг Лудлума или Маклина. Что касается игр с историей (помимо намеков на классику), то Войцеховский без сомнения является учеником Теодора Парницкого; что же до игр с будущим — он благодарный читатель Станислава Игнация Виткевича (Виткация).

В романе «Дождись новолуния» можно вне всяких сомнений обнаружить атмосферу, близкую той, что создает Виткаций в «Ненасытимости». Мы оказываемся в центре исторического водоворота, где Польша уготована особая роль: она должна подарить погруженной в хаос России жену для нового царя: «После венчания я все ему расскажу (...). А царь и так никому не признается, что жену ему сосватали западные аналитики, эксперты по Кремлю и генералы разведки». Россия Войцеховского, разрывающаяся между традициями самодержавия и перспективами западной демократии, — карта, которую разыгрывают американские, польские и прочие спецслужбы. Но что на самом деле она собой представляет? Это и есть одна из главных проблем романа, насыщенного стереотипами и попытками их реинтерпретации. Тут и неразгаданная тайна русской души, и русский, который — дотронешься, и взглянет на нас — цитируя Блока — «раскосыми и жадными глазами». Имеются и верные казаки: «Казаку любви две вещи и голову сложить он готов за две идеи. За свободу и Россию. (...) Для нас Россия — это царь (...). Свобода — это царь. А царь — это святое православие, ибо царя русскому человеку Бог послал».

Не обошлось, разумеется, и без элементов любовного романа, а также детектива (поиски пропавшего сокровища); однако главная тема — поиски языка, способного описать русскую ментальность, противопоставляемую (справедливо или нет — вопрос остается открытым) западной. Идет речь и о Польше, также подвергнутой реинтерпретации в традициях пастиша с элементами гротеска. Одно несомненно: вновь перед нами индивид, пытающийся находить верные решения в условиях дефицита информации.

Л. Ш.



Моника Вуйтяк

«ДЕЛО» БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Одним из важнейших культурных начинаний конца «оттепели» в Польше был ежеквартальный журнал «Опинье» («Мнения»)¹, созданный в 1957 г. Северином Полляком «в стремлении показать истинную русскую культуру» (как писал к 10-летию со дня смерти Полляка в «Зешитах литерацких» Адам Поморский [русский перевод статьи см. «Новая Польша», 2001, №11]). Вместе с Полляком журнал создавали Земовит Федецкий и Анджей Ставар. Вышли, к сожалению, только два номера, но их содержание свидетельствует о серьезных замыслах редакторов. На страницах журнала были напечатаны Марина Цветаева, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Исаак Бабель и другие великие русские поэты и писатели, которые до сих пор по цензурным причинам не принадлежали к авторам, охотно печатавшимся официальными издательствами. Однако беспрецедентным событием оказалась публикация отрывков из «Доктора Живаго» Бориса Пастернака в переводе Марии Монгирдовой. Это было еще до выхода (в том же году) итальянского издания полного текста романа, которое считается его всемирным дебютом. Рукопись романа получил от автора Федецкий, который, будучи пресс-атташе посольства ПНР в Москве, поддерживал с поэтом дружеские отношения.

После того как миланское коммунистическое издательство «Фельтринелли» опубликовало «Доктора Живаго», роман перевели на полтора десятка языков, а писателю присудили Нобелевскую премию. Однако Пастернак отказался ее принять. Решение это было результатом политических игр, жертвой которых стал писатель. В 1954 г. в журнале «Знамя» были напечатаны стихи из романа, два года спустя советское радио и печать обещали публикацию всего произведения. Пастернак был поэтом, которого в Советском Союзе высоко ценили, и ничего удивительного, что его роман вызывал большой интерес.

Однако вскоре оказалось, что «Доктор Живаго» не отвечает цензорским критериям. Журнал «Новый мир» отверг роман, усмотрев в нем «дух неприятия социалистической революции» и «почти патологический индивидуализм». Писателя заставили послать телеграмму в итальянское издательство с запретом печатать рукопись. Безрезультатно. Под влиянием партийного нажима Пастернак отказался принять Нобелевскую премию, но этим дело не кончилось. Только тогда началась воистину оголтелая травля писателя. Эпитеты, адресованные писателю с публичных трибун, и красноречивы, и знаменательны: «предатель», «вражеский наемник», «оплевывает родину», «Иуда», «фарисей». «Литературная газета» напечатала редакционную статью под внушительным заглавием «Провокационная вылазка международной реакции», где роман был признан контрреволюционным и клеветническим произведением, полным презрения и ненависти к народу и его свершениям. Пастернака исключили из Союза писателей и потребовали, чтобы он публично признал свою вину. Однако покаяние не изменило положения поэта. Измученный гнетущей политикой властей, униженный, несправедливо осужденный, он скончался 31 мая 1960 года.

Шум, возникший вокруг «дела Пастернака», отозвался и в Польше. Чувства и тревогу, которую испытывали те, кто следил здесь за судьбой русского поэта, выразил много лет спустя Тадеуш Ружевич:

«Русский язык я знал когда-то лучше, чем теперь. Я учил его сам, читал. Литература была для меня слишком трудной, я покупал в киосках русские газеты. Шел 1948 год, я жил еще в Кракове, когда прочел в «Правде» статью Жданова о советской музыке. О том, что Хачатурян, Шостакович, Прокофьев заблуждаются в своих поисках, что музыка их не мелодичная, не народная. Подробностей не помню — помню, что был потрясен: Жданов поучал тройку крупнейших композиторов, как им положено писать.

¹ Журнал закрыли после того, как в «Литературной газете» появилась заметка «Чьи это «Мнения»?». (См. также после текста статьи информационную заметку о журнале и приложение — относящееся к нему письмо отдела культуры ЦК КПСС. — *Ред.*)



А в 1958 году «Правда» напечатала статью замминистра культуры о Нобелевской премии, присужденной Борису Пастернаку. Небольшая статья, а страшная. Замминистра, кажется Кабанов, назвал Пастернака свиньей, которая портит воздух родины². Буквально! Теоретические рассуждения Жданова о музыке стали для меня первым сигналом тревоги. Травля Пастернака десять лет спустя — огромным ударом. Я потом написал короткую поэму о поэтах — оплеванных, погребенных заживо. Это было в частности и о Пастернаке. В частности».

А вот стихи Ружевица (отрывок из «Патетической поэмы», сборник «Третье лицо», 1968):

*Оплевали поэта
веками будут
утирать землю и звезды
веками
будут утирать себе лицо*

*Поэт заживо погребенный
как подземные воды
сохраняет в себе
лица имена
надежду
отчизну*

*Поэт ошельмованный
слышит голоса
слышит свой голос
оглядывается
как человек ночью
разбуженный*

*Но обман поэта
многоязычен
и огромен
как Вавилонская башня
он чудовищен
и не умирает*

Роман Пастернака, по авторскому замыслу, должен был, как писал Анджей Дравич, «стать сутью духовности, извлечением выводов из собственного опыта, судьбы поколения, новейшей истории России». Дравич считает, что «Доктор Живаго» не был задуман как мятежное произведение, но бросал вызов историческому детерминизму, содержал много неприятных замечаний в адрес большевистской власти, и в сочетании с восхвалением естественности, свободы и христианского наследия все это звучало весьма небезопасно. Роман рассказывает о судьбе заглавного героя — врача и поэта Юрия Андреевича Живаго. О его участии в мировой войне, отъезде в Сибирь, принудительной мобилизации, смерти родных, внутренней перемене после встречи с необыкновенной женщиной — Ларой, которую он в конце концов тоже потеряет. И в конце — о позиции Живаго, человека внутренне свободного, смирившегося с тем, что несет судьба, верящего в христианский нравственный порядок и в смысл страдания и противящегося революционному насилию и пустым основаниям, ради которых оно творится.

² Это знаменитое высказывание на самом деле принадлежало первому секретарю ЦК ВЛКСМ (будущему председателю КГБ) Семичастному. — *Пер.*



Книга Пастернака завоевала неожиданный успех во всем мире, на который, несомненно, повлияло то, что у себя на родине она была отвергнута. Что, однако, существенней, писатель бессознательно стал предтечей русского литературного подполья. Судьба поэта, особенно ее драматургия, вдохновила последователей, писателей, готовых уже к открытому бунту. Советская литература испытала в то время расщепление.

Наряду с официальной литературой появилась независимая. Андрей Синявский и Юлий Даниэль, писавшие под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак, на рубеже 50-60-х годов послали на Запад свои гротескные повести, показывающие советский абсурд. За смелость они были наказаны, однако их судебный процесс (1967) приобрел международную известность, как и суд над Иосифом Бродским (1964). Начинается процесс медленных, но важных перемен в русской культуре. Первые книги Аржака и Терца, посланные во Францию, были напечатаны в парижской «Культуре» Ежи Гедройца.

Здесь есть смысл остановиться и поговорить о польской эмигрантской периодике. Самые важные из периодических изданий, составляющие основную точку отсчета, — это парижская «Культура» и лондонские «Ведомости». Влияние этих изданий на читателей в Польше, похоже, изучено еще недостаточно. Однако не подлежит сомнению, что оба издания — ежемесячный журнал и газета-еженедельник — способствовали спасению непрерывности традиций и сохранению польской литературной жизни своего облика.

Линия «Культуры» с самого начала была решительно прорусской. Создатели журнала, стимулируя диалог с русскими, печатали на страницах журнала их произведения. В 1959 г. издательство «Культуры» «Институт литерацкий» выпустило роман Пастернака, о чем Гедройц в «Автобиографии в четыре руки» говорит не без гордости: «Наибольший успех у эмигрантских читателей имел несомненно «Доктор Живаго» (...). Он вышел тремя изданиями, общим тиражом 15 тысяч экземпляров. Такого тиража мы больше никогда не достигали. Этот успех был для нас весьма приятной неожиданностью». Однако книга пользовалась успехом не только у эмигрантских читателей. «Культура» распространялась и в Польше. Выходившие в ее издательстве книги — тоже. Журнал, разумеется, расходился нелегально, а о связанной с этим тревоге властей свидетельствуют аресты распространителей. В 1958 г. к трем годам приговорили Ханну Скажинскую-Ревскую за то, что она привозила в Польшу журнал, а десять с лишним лет спустя прошел процесс «альпинистов», обвиненных в «сборе, подготовке и передаче враждебному центру [«Институту литерацкому»] материалов, очерняющих наш народ, государственный и общественный строй и власти» и в нелегальном распространении «Культуры» в Польше, — пятеро подсудимых получили от трех до четырех с половиной лет каждый. Благодаря «Культуре» в Польше знали, что читать, к каким литературным фактам отнестись с особым вниманием, какие имена не упустить.

Когда вышел «Доктор Живаго», на страницах журнала о нем писал, в частности, Густав Герлинг-Грудзинский. В статье «Победа Бориса Пастернака», идя от анализа поэзии и приводя стихи как контекст романа, он размышлял о романе русского писателя. Во вступлении Герлинг-Грудзинский сделал важное признание:

«Как и поэмы Пастернака, «Доктор Живаго» как образец традиционного жанра, к которому он ex definitione принадлежит, — роман-неудача, с толкучкой действующих лиц, психология которых едва подкрашена или вовсе набросана начерно, хаотический и разваливающийся композиционно, без надежды на спасение тонущий в поэзии (хотелось бы сказать: в лучистом лирическом ливне), ни разу на протяжении своего семисотстраничного галопа не сдержанный вожжами хотя бы самой скромной эпической дисциплины. Но по-своему это книга, не побоюсь сказать, великая — в своей бесформенности роман обладает какой-то трудно уловимой формой чудища глубоководной флоры: он опутывает, душит, поглощает. Моментами он напоминает свежий, еще теплый кусок мяса, вырванный из жизни России, обращаясь к лучшим традициям русской прозы прошлого столетия. В другие моменты — возмущает богатством того, что мы называем сырьем и что куда точнее передает итальянское *materia prima*. И, наверное, богатство этой первоматерии следует приписать тому, что никогда еще в эмиграции я не читал книги «оттуда», которая там болезненно, как «Доктор Живаго», заставила меня осознать полуувечье писателя, приговоренного к изгнанию с родины».



Далее Герлинг-Грудзинский пересказывает главные сюжетные линии, сосредотачивая свое внимание в основном на двух — «натуральной истории» и революции. Именно эти вопросы составляют ключ к пониманию мировоззренческой эволюции и позиции Живаго, принятой в вихре перемен, происходящих в России. Вначале восхищенный революцией, герой приходит к выводу, что насилие не служит правому делу, и становится глашатаем делания добра, чтобы достичь добра. А рядом с добром он ставит как приоритет поиски истины. Притом вопреки общественно-политическим обстоятельствам и общепринятому мнению. Пиком истории русского врача-поэта Герлинг-Грудзинский считает встречу в эпилоге: после смерти Живаго и после новой мировой войны двое его друзей, живущие уже только прошлым, возвращаются к годам войны как к совершенно поворотному моменту, который нес надежду на свободу. И хотя эти чаяния не сбылись, война дала этим людям перспективу, веру, она была «предвестием свободы, носившимся в воздухе». И в этом писатель видит победу Живаго. Не в исполнении и осуществлении, а в одиноких поисках истины. И стоянии при ней.

Однако, возвращаясь к приведенной цитате из статьи Герлинга-Грудзинского, стоит отметить, что писатель делает еще и глубоко личное признание, находя в судьбе русского художника повод к размышлению над собой. Биографические антиномии заставляют его осознать, как питателен и вдохновляющ для творчества непосредственный опыт жизни на родине. И какие опасности несет с собой статус эмигранта, изгнанника, художника, глядящего на отечественные дела из прекрасного далека, с перспективы, часто искажающей реальный мир. В «Докторе Живаго» польский писатель усматривает величие, обращение к замечательной традиции русского романа, глубокий смысл, скрытый в слоях неявных значений произведения, наконец, силу и вес того, что хочет сказать Пастернак. И в то же время он критически высказывается о формальных установках романа.

В своих сомнениях он не одинок. Барбара Топорская тоже писала о романе Пастернака в лондонских «Ведомостях» (русский перевод статьи «Живаго — свидетель эпохи» см. «Континент» №41, 1984): «Пастернак-поэт лучше прозаика. (...)

«Доктор Живаго» часто прихрамывает, часто прямо хромот. Конструкция первой части романа, хотя намного лучше второй, построена на принципе случайных совпадений. Как в дурном театре: герои входят на сцену и сходят с нее, случайно встречаются или разминуются, как и когда удобно автору. Поскольку сцена — бескрайняя Россия, эти совпадения, на которых держится все действие романа, выглядят довольно искусственно. Но можно сказать: «Так и бывает в жизни!»; это можно сказать в особенности тогда, когда уже деваться некуда от диалектического умничанья, от социального и исторического детерминизма. Из двух крайностей заведомо ближе к истине та, которая гласит, что судьбой людей управляет слепой случай. Во второй половине романа — хуже: недостоверными ситуациями автор лишил правдоподобия монтаж случайностей. И все же, хоть и можно составить длинный список мест, где спотыкаешься, — читая роман Пастернака, не сомневаешься, что это великая литература. Глубокая, волнующая, вдохновенная. Искренняя, правдивая и достоверная».

Начав с наблюдений общего порядка, оценивая слабости и достоинства романа, Топорская дальше делится замечанием, похожим на то, которое сформулировал Герлинг-Грудзинский. Чтение «Доктора Живаго» настраивает ностальгически, подчиняет «такому сильному поэтическому гипнозу, что в стране чуждой, чтоб не сказать враждебной, распознаешь черты своей родины — что-то «знакомое и сердечно близкое». По мнению Топорской, роман Пастернака — произведение, «наэлектризованное любовью к родине». Одновременно она убедительно доказывает, что эта родина — отнюдь не Советский Союз. Со страниц романа явлена страна как бы из прошлого, страна, по которой тоскуешь и в которую жаждешь вернуться. Тут Топорская от литературной критики переходит к политологическим размышлениям, в отличие от Герлинга-Грудзинского, и подчеркивает, что задача отличать Советский Союз от России доставляет немалые трудности влиятельным западным кругам.

Как в Западной Европе, так и в Америке постоянно говорят «Россия», не понимая, какие последствия приносит эта терминологическая ошибка. Не желая принять к сведению существование Советского Союза, в основе которого лежит насилие, диктатура и социальная несправедливость, Запад расписывается в своей политической близорукости и в том, что не сознаёт реальной угрозы. Отсюда вытекает



абсурд, очевидный и в «деле Пастернака». Западная печать склонна была обвинять скорее Шведскую Академию в том, что она дала повод к травле писателя, потому что не проконсультировалась с советскими властями, прежде чем присудить Пастернаку Нобелевскую премию.

В то же время у западных публицистов никакой мысли не пробудила реакция советских организаций в главе с комсомольцами, которые романа Пастернака, не опубликованного в СССР, не читали. «Доктор Живаго», по мнению Топорской, — роман антисоветский и антимарксистский, произведение, показывающее альтернативу всему советскому, в чем тоже таится его сила и что непременно тревожит советские власти. Суммируя свои размышления над романом Пастернака, Топорская, используя разговор о войне в эпилоге романа³, приходит к заключению, что мирный путь освобождения от коммунизма — пустые слова, а единственное возможное решение — путь вооруженного конфликта.

Таким образом, война, о которой в романе разговаривают друзья Юрия Живаго, имеет для Герлинга и Топорской разное значение. Приведенные здесь высказывания характерны для разных кругов польской эмиграции. В данном случае речь идет о польской эмиграции в Лондоне и Париже⁴.

Вышеприведенные размышления над романом стоит дополнить важными высказываниями другого эмигранта — Чеслава Милоша — из статьи «Трезво о Пастернаке» («On Pasternak Soberly», 1963), написанной в Америке и до сих пор не переведенной на польский. Поэт предпринимает попытку анализировать истоки и последствия восприятия «Доктора Живаго» на Западе, где имя автора послужило обозначением его «дела» и где он против воли стал символом, тем самым утрачивая право на собственную личность, в том числе и творческую. Шум вокруг романа был поднят не в силу его ценности, а в силу атмосферы сенсации и скандала, которая его окружала. А это привело к ситуации, воистину шекспировской.

По мнению Милоша, роман следует читать в контексте поэтического творчества Пастернака. А оно, будучи непереводаемым, остается на Западе почти неизвестным. Польский поэт утверждает, что в романе Пастернак мог высказать то, что не вмещалось в лирическое стихотворение. «Доктор Живаго» послужил тому, чтобы выразить идею, позволил поэту высказаться в более широкой исторической перспективе. В этом смысле написание произведения прозой было гамлетовским поступком. «Благодаря этому поступку, — пишет Милош, — Пастернак создал новый миф писателя, и мы рискуем сказать, что этот миф сохранится в русской литературе, как другие уже мифические события, как дуэль Пушкина, борьба Гоголя с чертом, побег Толстого из Ясной Поляны». Как утверждает Милош, Пастернак не выступал против советской доктрины. Тем не менее он желал сообщить определенную картину человеческого состояния. «Доктор Живаго» — это, по мнению Милоша, произведение христианское, но не вступающее в полемику с антихристианской концепцией человека — ту полемику, которая составляла силу романов Достоевского. Пастернак принимает страдание и историческую необходимость. Революцию он сравнивает со стихийным бедствием, перед которым человек беспомощен. Силы истории всегда преодолевают человеческое сопротивление. Однако, с другой стороны, Пастернак исповедует веру в вечно возрождающуюся жизнь и в смысл страдания. Роман несет надежду, автор утверждает причащение человека к природе, а также вытекающее из него согласие с ритмом истории. Однако такая картина мира, говорит Милош, вызывает сомнения:

³ Барбара Топорская цитирует первый (1943 года) разговор из эпилога: «...весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с ужасами концлагеря...»; «война явилась очистительной бурей, струей свежего воздуха, веянием избавления»; «И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы». Герлинг-Грудзинский приводит цитату из второго, послевоенного разговора: «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». В конце он цитирует еще стихотворение «Рассвет»: «Со мною люди без имен, / Деревья, дети, домоседы. / Я ими всеми побежден, / И только в том моя победа». То, что для Герлинга-Грудзинского составляет основу победы Пастернака, для Топорской — акт мужества и побуждение к борьбе во имя победы.

⁴ Правда, Герлинг-Грудзинский писал свою «Победу Бориса Пастернака» в Италии, но предназначал ее для парижской «Культуры», с линией которой был полностью согласен.



«Мы сильно реагируем на атмосферу надежды, сопутствующую «Доктору Живаго». (...) Жизнь позаботится сама о себе, разве что люди решат, что они позаботятся о себе. Страдания могут либо очищать, либо растлевать, а слишком долгое страдание часто разрушает. Конечно, надежда, которую делишь со всем народом, может стать могучим мотивом перемен, и все-таки когда под конец романа друзья давно скончавшегося Живаго утешают себя робко выраженными чаяниями, они рассчитывают на что-то неожиданное (смерть тирана?). И их политическое мышление не так далеко от гнетущей советской шутки о советской конституции, лучшей в мире, так как она дает гражданам право на посмертную реабилитацию».

По сути роман, воспринимаемый символически, вписывается в традицию русского реализма. Герой романа отказывается участвовать в создании «новой интеллигенции», что в результате означает существование вне рамок советского общества. В этом Пастернак следует русской традиции юродивого, человека внутренне свободного, смелого, но функционирующего на обочине общества. Только «святой дурак» может безнаказанно публично выражать свои мнения. Как замечает Милош, герой не понимает механизмов, управляющих миром, но интуитивно отличает добро от зла. Поэтому характерной чертой Живаго становится смирение.

Чеслав Милош ставит в заслугу Пастернаку преодоление самоизоляции, что позволило ему вслушиваться в «тихие жалобы» соотечественников. Ведущая мысль «Доктора Живаго» подводит итоги опыту Пастернака-поэта. Ибо любой, кто входит в полемику с государственной идеологией, совершает самоуничтожение. Разговор с новым Цезарем невозможен, ибо тогда приходится встречаться с ним на его территории. Пастернак предлагает нечто новаторское и альтернативное по отношению к соцреализму — идею сострадания и веры, составляющих истинное предназначение человека.

Взгляды, сформулированные при анализе русского романа, провоцируют на более глубокие размышления об отношении поляков к России. Оказывается, это отношение не одинаково — и не может быть одинаково. Здесь проблема польско-русских и польско-российских отношений, восприятия России, связанных с ней представлений о будущем едва-едва намечена. Но это крайне важный вопрос, к которому есть смысл возвращаться и неустанно его обдумывать.

Журнал «Опинье», где были опубликованы отрывки из «Доктора Живаго», возник на волне «оттепели». Предполагалось, что это будет «ежеквартальный журнал, посвященный советской культуре». Главным редактором стал переводчик и поэт Северин Поляк, его заместителем — Ванда Падва. Кроме них в состав редколлегии входили Земовит Федецкий, Анджей Ставар и Стефан Треугутт. В первом номере (июль-сентябрь 1957), который вышел 8 августа, кроме отрывков из романа Пастернака были напечатаны его стихи, стихи Мандельштама, Цветаевой, Заболоцкого, Мартынова и Слуцкого, а также пьеса Бабеля «Закат» в переводе Ежи Помяновского. Были напечатаны и статьи польских авторов о русской литературе. Второй номер (октябрь-декабрь 1957) вышел с опозданием, вроде бы по техническим причинам. В нем, в частности, были напечатаны новые переводы стихов Маяковского, «Судьба человека» Шолохова, стихи Велемира Хлебникова и Павло Тычины. В нем помещена также заметка «От редакции» — ответ на рецензию «Литературной газеты» (26 сент. 1957) на первый номер журнала, рецензию, «выдержанную в оскорбительном тоне, содержащую обидные инвективы». Претензии советских товарищей касались прежде всего подбора авторов, напечатанных в журнале. Варшавская редакция рассчитывала на то, что статья была «только случайным недоразумением и что в будущем возможная полемика между нами будет идти нормальным порядком». Но время дискуссий кончилось. В то же самое время был закрыт еженедельник «По просту» и лодзинский двухнедельник «Кроника» («Хроника»). Запланированные новые журналы, такие как варшавская «Европа» или краковская «Тресть» («Содержание»), вообще так и не вышли.

Приводимый в приложении документ свидетельствует о том, что рецензии в «ЛГ» предшествовало партийное решение и что она отнюдь не была «случайным недоразумением». Судьба журнала была предreshена еще до выхода 2-го номера.

П.М



Записка Отдела культуры ЦК КПСС

о публикации отрывков из романа «Доктор Живаго» в польском журнале «Опинье»

30 августа 1957 г.

ЦК КПСС

По сообщению краковского еженедельника «Жиче литератке» (от 18 августа 1957 года), в Польше стал издаваться ежеквартальный журнал «Опинье» («Мнения»), посвященный вопросам советской культуры. Вышла первая книжка журнала. Судя по характеру отбора произведений, опубликованных в первой книжке, ежеквартальнику «Опинье» придается враждебная нам направленность.

Под предлогом «добросовестности информации» редакция ежеквартальника взяла курс на публикацию книг, в которых содержатся «вопросы болезненных исторических ревизий», курс на восхваление произведений идейно порочных и чуждых нам, подвергающихся у нас резкой критике.

В числе опубликованных в журнале «Опинье» произведений советских авторов — рассказ Яшина «Рычаги», а также отрывки из неопубликованного антисоветского романа Б.Пастернака «Доктор Живаго».

В связи с вышеизложенным Отдел культуры ЦК КПСС считал бы необходимым поручить советскому послу в Польше обратить внимание польских товарищей на недружественный характер журнала «Опинье» и в соответствующей форме высказать мысль о том, что критическое выступление польской партийной печати по поводу позиций журнала «Опинье» и прекращение дальнейшей публикации сочинения Пастернака было бы положительно встречено советской общественностью.

Было бы также целесообразно рекомендовать Секретариату Правления Союза писателей СССР и редколлегии «Литературной газеты» по получении ежеквартальника «Опинье» организовать публикацию открытого письма группы видных советских писателей, в котором подвергнуть критике позиции этого журнала. Направить это письмо для опубликования в польской прессе и в том числе в редакцию журнала «Опинье».

Просим указаний.

Текст телеграммы советскому послу в Варшаве прилагается.

Зав. Отделом культуры Д.Поликарпов
Инструктор Отдела Е.Трущенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект

Телеграмма послу СССР в Польской Народной Республике

[Не позднее 30 августа 1957 г.]

Варшава

Совпосол

Обратите внимание друзей на чуждую нам направленность журнала «Опинье», посвященного советской культуре.

Выскажите мысль о том, что прекращение дальнейшей публикации романа Б.Пастернака и критическое выступление польской партийной печати по поводу позиций журнала «Опинье» встретит должное понимание советской общественности.

На документах виза заведующего Отделом культуры ЦК КПСС Д.А. Поликарпова.

К документам приложена записка: «Просьба доложить т. Пospelову П.Н. (Обращает на себя внимание: 1. Журнал «Опинье» никто еще не видел. 2. Тон телеграммы)».

«Тов. Воронцов В.В. сообщил, что эту записку М.А.Суслов видел и это его указание. 2/IX-57 г. А.Соловьев».

На записке отдела культуры помета: «Необходимые меры по этому вопросу приняты. Зам. зав. Отделом культуры ЦК КПСС Б.Рюриков. 30.IX.57 г.».

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 32. Л. 118–119, 122. Подлинник.



Янина Куманецкая

ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

• «Я считаю себя патриотом. Что это значит? Это значит, что я беру на себя ответственность за прошлое моего народа со всем, что в нем было хорошего и плохого, и за его будущее — так же, как беру на себя ответственность за себя самого», — говорил Владислав Бартошевский в книге-интервью, которое взял у него Михал Комар. Владиславу Бартошевскому, журналисту, публицисту, дипломату и политику, дважды министру иностранных дел Третьей Речи Посполитой, исполнилось 85 лет. Юбилей дал еще один повод обратиться к авторитету, каких сегодня уже немного. По этому случаю Адам Михник написал: «Цензура последовательно изымала отовсюду фамилию Бартошевского и его псевдоним времен оккупации. Как будто желала изъять его из коллективной памяти. К счастью, Бартошевский не позволил себя изъять. Он встал в коллективную память упорно и все глубже. И не только в память поляков — в память евреев, немцев, австрийцев, в память европейскую и мировую. Сегодня он принадлежит к самым известным и уважаемым полякам. И слава Богу». «Без платы по счетам мести и ненависти, в поисках примирения, но и в поисках истины и памяти — такой завет Владислав Бартошевский и его поколение передают следующим поколениям», — сказал на торжественном собрании в варшавском Королевском замке профессор Бронислав Геремек.

• В марте мы отмечали 10 лет со дня смерти Агнешки Осецкой. Она была поэтессой, писательницей, журналисткой, театральным и теледраматургом, автором текстов более тысячи песен. В России не забудут посвященную ей песню Булата Окуджавы «Прощание с Польшей» («Мы связаны, Агнешка, давно одной судьбою...»). Она была варшавянкой, выпускницей Варшавского университета (факультет журналистики — 1956) и Лодзинской высшей киношколы (1961). О себе она говорила так: «Моя родина — не польская земляника и не ива у дороги, а польская грамматика. Закрывая глаза, я вижу карту польского язы-

ка, эти местоимения, наречия. Обожаю грамматику, ну что тут поделать. Можете смеяться надо мной: части речи — это моя родина». И еще: «Я вовсе не плохая, хотя живу «беспорядочно». Я человек общительный, умею говорить с людьми, но бываю и нетерпеливой и сбегая от них, меняю места. Мое величайшее достоинство и одновременно недостаток — легкость в контактах с людьми». Она входила в тот наполовину восторженный, наполовину бунтарский польский культурный пейзаж 60-70-х годов прошлого века, который так прекрасно отразился в ее песнях.

• В возрасте 64 лет умер один из самых знаменитых польских рок-музыкантов Тадеуш Налепя. «Он был прекрасным гитаристом с весьма характерным, узнаваемым стилем и вдобавок одаренным вокалистом», — написал о нем Роберт Санковский. А журналист и друг семьи Ян Хойнацкий охарактеризовал, каким он был на эстраде: «У него был свой ансамбль, но с кем бы он ни выходил на сцену — главным всегда был только он. Остальные служили фоном. Хотя он не стремился обратить на себя внимание, не эпатировал одеждой, не устраивал дебошей и скандалов. Да, он носил длинные волосы, но выглядел, как уличный прохожий, и был одним из нас. Публика это чувствовала (...) Прирожденный лидер и мотор всех мероприятий».

• Спустя сорок лет с момента выхода английского издания вышла на польском языке «одна из трех самых важных книг о театре второй половины XX века», — пишет Роман Павловский о книге Ежи Гротовского «К бедному театру». — Радость от обретения легендарной работы омрачена сознанием того, что мы имеем дело по сути с книгой исторической, а нет ничего столь разрушительно для театра, как уходящее время. (...) Поэтому книгу «К бедному театру» не нужно читать как театральный учебник, предлагающий конкретные решения и идеи. Более важным кажется нравственный завет, заключенный в самом понятии «бедный театр»».



• Представления, выставки, литературные конференции запланированы в рамках объявленного в Польше (прежде всего в Кракове) Года Выспанского. Предполагается, что это торжество будет проходить поверх всех разделений, и даже депутат от «Лиги польских семей» Марек Кава отметил, что хотя Выспанский «не отказывался от критики национальной культуры (...) однако никогда не опускался до хамского уровня брани в адрес временами ущербной национальной риторики, что позднее позволили себе Виткаций, Гомбрович...»

• Лауреатом присуждаемой польским ПЕН-Клубом премии им. Яна Парандовского стала проф. Анна Свидерек — филолог, специалист в области классической филологии, историк литературы и исследователь Библии, автор, в частности, книг «Эллада королей» и «Эллиника».

• «Доступно написанный путеводитель по всем областям культуры, — так говорит о книге «Текстиль бис» Петр Марецкий, один из авторов этой работы об искусстве молодых. — Именно такой продукт мы и предлагаем. Мы хотели поставить вопрос о современных идеях, темах и технике молодых художников независимо от той среды, в какой они реализуются. (...) Это только и исключительно словарь. Большая книга молодой польской культуры».

• «Когда призрак равнодушия начал кружить над ее творчеством, — пишет Дариуш Новацкий, — Мануэла Гретковская открыла в себе политическую жилку. Она стала лидером общественного движения «Польша — женщина», недавно преобразованного в Партию женщин». И выпустила книгу «Женщина и мужчины», где «оказалось немало тезисов, взятых из программы ее партии. Частично они беллетризованы, частично — поданы прямо. (...) В результате мы получили довольно смелый «доклад» о состоянии института брака и сегодняшних нравах в области отношений двух полов. Гретковская углубляется в те сферы, до которых пока еще не добрались писательницы, обращающиеся к подобным темам. Однако это не означает, что она не рассказывает своим читательницам сказок, которые должны помочь им в их женской жизни. Их объединяет общая мораль: неправда, что жизнь женщины заканчивается после сорока. Тогда-то она и начинается, надо только поверить в себя».

• После долгих перипетий издательство «Знак» наконец выпустило книгу «Священники и госбезопасность» о. Тадеуша Исаковича-Залеского. Книга вызвала много споров, сенсацию в СМИ и настоящую бурю среди духовенства. «Церковная историческая комиссия не будет давать оценку никаким публикациям, касающимся преследований католической Церкви во времена ПНР. Она рассматривает их единственно как материал, пригодный в ее научных исследованиях», — говорится в сообщении епископата. А непосредственно начальствующий иерарх автора книги, кардинал Станислав Дзивиш, митрополит Краковский, поручил созданной им комиссии «Память и забота» «проверить соответствие книги о. Залеского этическим нормам, определенным в меморандуме епископов по вопросу о сотрудничестве некоторых духовных лиц с органами госбезопасности».

• Первое место в списке бестселлеров занял новый роман Павла Хюлле «Тайная вечеря», «книга о польском католичестве, институциональном и догматическом, нацеленном на коллективные эмоции и не слишком терпимом к индивидуальным, подчас одиноким поискам Бога»; на втором месте — «Женщина и мужчины» Мануэлы Гретковской, а дальше — «Путешествия с Геродотом» Рышарда Капустинского. Новое лицо в списке бестселлеров — Эдита Чепель и ее книга «Светлые голубые окна», повесть о дружбе двух женщин, которые провели вместе детство в провинциальном городке. Книга попала в бестселлеры, по всей вероятности, благодаря кинофильму, который по мотивам повести снял Богуслав Линда. В категории документальной литературы вслед за «Свидетельством» кардинала Дзивиша и «Михниковщиной» Рафала Зенкевича стоят «Путешествия с Рышардом Капустинским. Рассказы 13 переводчиков», книга, которую издательство готовило как подарок к 75-летию писателя. К сожалению, вышло — к похоронам.

• В связи с 50-й годовщиной со дня смерти Анджее Врублевского Национальный музей в Варшаве подготовил выставку его работ. «Это необычайный художник, — пишет по поводу этой выставки Дорота Ярецкая. — Его искусство отличается, пожалуй, наибольшей силой воздействия среди польских «современных» мастеров, которые дебютировали после войны, хотели не отстать от европейского искусства своего времени,



стартовав затем в современность еще раз во время оттепели. Он жил меньше, чем они все, умер в возрасте 30 лет».

- «Вечно молодые» — так называется выставка в Институте промышленного дизайна, посвященная творчеству художников, благодаря которым польский дизайн достиг высокого уровня. Сегодня это чаще всего уже пожилые люди, но их искусство по-прежнему молодо. «Мы не хотели выставлять очередной случайный набор покрытой пылью мебели, а хотели показать интересные проекты, из которых молодежь по сей день черпает вдохновение, — говорит куратор выставки Итта Карпович-Старек. — Выставка «Вечно молодые» объединяет в себе современность и уважение к традициям».

- Польская киноакадемия присудила «Орлов» этого года — главные премии польской кинематографии. Триумфаторами, как и на кинофестивале в Гдыне, стали Иоанна Кос-Краузе и Кшиштоф Краузе, награжденные за кинофильм «Площадь Спасителя». За роли, сыгранные в этом фильме, «Орлов» получили актрисы Йовита Будник и Эва Венцель. Зрительская премия присуждена фильму «Ясминум» режиссера Яна Якуба Кольского; за актерскую работу в этом фильме награжден Януш Гайос, а Кшиштоф Птак — за операторское искусство. «Орел» за лучший сценарий достался Мареку Котерскому за сценарий фильма «Все мы Христы».

- «На пальцах одной руки можно пересчитать польские детективы, обращающиеся к судебной тематике, — пишет Януш Врублевский. — Поэтому тем более стоит обратить внимание на интересно сконструированную психологическую драму «Безмерность правосудия» Веслава Саневского. Его фильм использует условность моралите (...) заключающуюся в противостоянии разных точек

зрения на процесс, основанный на косвенных уликах, где вина подсудимого вовсе не очевидна». В фильме играют, в частности, Ян Фрыч, Божена Стахура, Артур Бартись и Ян Энглерт.

- Новым директором общественного Польского телевидения (ТВП) стал Анджей Урбанский, политик, некогда деятель партии «Соглашение центр», который после последних выборов был начальником канцелярии Леха Качинского, а в последнее время — его советником. Урбанский пока что успокаивает своих обеспокоенных новых подчиненных, заявляя, что не собирается вводить телевидение одной партии, и заверяет, что ТВП — «институт, хорошо функционирующий в демократическом государстве», что сам он ценит «высокий профессионализм работников телевидения» и что самое главное — «правильное управление и спокойная творческая атмосфера».

- «Контактная линза» — это часовая сатирическая передача, одна из самых популярных сегодня на информационном телеканале ТВН-24. Эту передачу создали два года тому назад, недавно вышел ее 500-й выпуск. «Задача? — говорит один из ее создателей, Томаш Сянецкий. — Выпустить воздух из политического воздушного шарика, не подводя под это ненужную идеологию. (...) Действовал принцип: кто уловит идею и врубится, тот останется с нами». А второй ведущий, Гжегож Мецугув, рассказывает: «В сентябре 2005 года, когда к власти приближалась коалиция «Гражданской платформы» и «Права и справедливости», я думал, что нам тут делать нечего, пора собирать манатки. Все будет прилично, без этого наглого вранья левых, которым славилось правительство Миллера. Стабильно, добропорядочно и скучно. Ну и ошибся. Пожалуй, все мы ошиблись». И это пошло на пользу программе «Контактная линза»...



Лешек Шаруга

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Одним из самых волнующих событий стал в последнее время выход книги о. Тадеуша Исаковича-Залеского «Священники и госбезопасность», где рассказывается о слежке за католическим духовенством Краковской епархии, о случаях сотрудничества священников с органами, наконец, о том, какова была атмосфера жизни Церкви при коммунизме. Сама книга, может быть, и не вызвала бы такого огромного интереса, если бы не тот факт, что она входит как один из элементов в более широкую дискуссию о состоянии католической Церкви в посткоммунистической Польше, о ее поисках нового самосознания внутри ее собственных разногласий, особенно усилившихся после смерти Папы-поляка. С другой стороны, книга о. Исаковича-Залеского вписывается в драматический процесс кампании по декоммунизации, прежде всего в дискуссию о люстрации журналистских и научных кругов. То, что «просвечиванию» должно быть подвергнуто прошлое политиков, в принципе не возбуждает сомнений. Однако Сейм счел, что люстрировать надо и представителей кругов «общественного доверия», исходя из посылки, согласно которой доказанный факт их сотрудничества с органами должен лишить их права заниматься своей профессией, по крайней мере в государственных учреждениях, таких как школы, вузы или СМИ. В одном интервью директор государственного радио Кшиштоф Чабанский обещал, что уволит каждого своего сотрудника, который не захочет пройти люстрацию, и каждого, который окажется в списке сексотов. При этом поразительно, что достаточно самой «бумажки» — не вникая, действительно ли данное лицо сотрудничало с органами или попало в этот список в результате шантажа либо другого преступления ГБ. Закон есть закон, углубляться в детали нет нужды, индивидуальные судьбы и случаи ничего не значат. Лес рубят — щепки летят. Всех обязывают одни и те же нормы.

Разумеется, не все с этим согласны. Известная журналистка Эва Милевич, в прошлом активистка КОРа (Комитета защиты рабочих, 1976-1981), ныне редактор в «Газете wyborczej», заявила, что не подпишет люстрационного заявления. Ее поддержала большая группа влиятельных журналистов. Дискуссия продолжается, тем более что на принятый Сеймом закон подана жалоба в Конституционный суд как на противоречащий основному закону, — Конституционный суд еще не вынес своего решения. Не подлежит сомнению, что многие, кто попадет в готовящиеся Институтом национальной памяти (ИНП) списки сексотов, подадут в суд на эти «приговоры», и дело может кончиться даже в страсбургском Европейском суде. Похоже, что готовится очень забавная суматоха, тем более что, по предварительным оценкам, люстрацией должны быть охвачены 600-700 тыс. человек. ИНП даже при самых добросовестных стараниях не в состоянии подготовить больше сорока тысяч справок в год. Если все это будет проводиться в жизнь, то в момент окончания этого процесса «дегешенизации» я уже буду спокойно взирать на это из-под земли. Вероятно, это касается и большинства заинтересованных лиц — люстрация должна охватить поляков, родившихся до 1972 года.

Пока что охота на сексотов вызывает страшные эмоции. Эмоции сопутствовали и подготовке к выходу вышеуказанной книги о. Исаковича-Залеского. Наконец она вышла. Сенсационного в ней меньше, чем ожидали. Об этом пишет о. Адам Бонецкий, главный редактор «**Тыgodnika powszechnego**» (2007, №9), в статье «Новейшая история и старая диалектика»:

«Эта книга возникала в атмосфере если не скандала, то сенсации. (...) О. Залеский собрал огромный материал. Изучение архивов ИНП приводит к тому, что, когда этим занимаешься, материал не сокращается, а расширяется. (...) А сами документы? Никто разумный не согласится их в целом опровергнуть. Известно же, что их создавали не ради того, чтобы что-то создать, но для оперативных целей, сведения от одного сексота проверяли с помощью сведений из других источников (...). В наполняющих книгу гебешных материалах, касающихся поисков [сексотов], поражает то, что, как правило, согласие священника еще раз встретиться с сотрудником органов («желание поддерживать контакты») записывается как согласие на секретное сотрудничество (...). И, наконец, трудность, иногда совершенно парализующая исследователя. Материалы в досье часто сохранились не полностью. Наш автор добросовестно сообщает об этом. Часто материалы сексота, досье которого было полностью или частично очищено, находятся в документах того, на кого он доносил. Иногда, однако, пробелы в документах так велики, что оценить имеющиеся материалы невозможно. Факт записи о вербовке ничего не решает, и даже уцелевшие, но обрывочные следы сотрудничества не уполномочивают делать далеко идущие выводы».



Известный факт: в 1989-1990 гг. польская госбезопасность успела уничтожить множество материалов. Но перейдем к выводам о. Бонецкого:

«Трудно ответить на вопрос, нужна ли эта книга и если да, то для чего. Прочитав ее, я всем сердцем желал, чтобы этого не было. Книги — или того, что она описывает? Одно накладывается на другое и смешивается, а общее впечатление гнетущее. Может, надо было ей возникнуть, чтобы до нашего — духовенства — сознания дошло, что нельзя продолжать, не выяснив некоторых вопросов, которые и так (...) выйдут наружу. Может быть... Однако следовало ли включать в нее недостаточно документированные случаи (...)? Случаи, перед которыми даже историки беспомощно разводят руками, а что же тогда делать рядовому читателю? Приведет ли публичный рассказ о тех, кто — уж сколько лет тому назад — смело оборвал сотрудничество, к тому, что они останутся в общественной памяти как те, что оборвали, или скорее как те, что сотрудничали? (...) Я не знаю. Зато я знаю, что если на каждого священника было досье, то у нас впереди еще много томов, подобных этому. (...) Нет хорошего способа справиться с прошлым. Попытка, предпринятая о. Исаковичем-Залеским из любви к Церкви, не имеет прецедента. Если написание книги обошлось ему дорого, то пусть ему хватит сил на то, что наступит потом. Ему придется померяться силами с гневом разоблаченных, с горечью тех, кто — может, вопреки тому, что казалось, — не ведал, что творит, с удовлетворением и агрессивностью тех, кто ловит каждый удобный случай напасть на Церковь. (...) Книга, такая или такого же рода, все равно была бы написана. Важно отчетливо понимать, когда мы спорим о книге или с автором, а когда предметом спора становится действительность и старая, как христианство, диалектика справедливости и милосердия».

Не подлежит сомнению, что выходящие сейчас наружу сведения о коллаборационизме даже высоких церковных иерархов с органами в немалой степени ослабляют влияние Церкви в обществе. Одновременно, однако, обнаруживаются разногласия среди священников и епископов. Об этом пишет Томаш Волек в большой статье «Престол превыше алтаря», напечатанной в «**Политике**» (2007, №10):

«Польский Папа простирает над польской Церковью защитный зонтик, хотя в голову приходит сравнение с чем-то вроде колокола. Когда эта защита перестала существовать, явилась картина разложения, как личного, так и в сфере компетентности. Наверх вышли лучше или хуже затухавшие различия (...). Поражает кризис лидерства, столь чувствительный в иерархически устроенном учреждении. Когда-то Церковь заботилась о том, чтобы под натиском коммунистического давления сохранить свой облик и традиционные ценности, сохранить в целостности полученную веру, не склониться перед политическим диктатом. Из этой борьбы Церковь — правда, несколько травмированная — в историческом итоге вышла победоносной. Теперь она стала перед другими трудностями. Агентурные истории времен ПНР важны, но не они самое главное, хотя для ряда священников это путь, ведущий через чистилище унижений. Раньше или позже Церковь управится с этой заботой, а дело очищения совершит безжалостная биология. Между тем в жизнь этого древнего учреждения вновь вторгается политика. (...) Власть не вмешивается в сферу *sacrum*: учение, богослужение, таинства, обряды и т.п. Но Церковь вмешивается в политику все сильнее».

Речь идет об истолковании новейшей истории. В свете высказываний нынешней правящей команды, стремящейся заменить Третью Речь Посполитую Четвертой, Церковь не только была катализатором переговоров «круглого стола» 1989 г., но и способствовала легитимизации союза коммунистов с частью оппозиции — с «розовыми» (в данном случае Михником, Куронем и др.) и либералами:

«Огромную роль, — с иронией пишет Волек, — сыграли тогда священники и епископы (...). Они были режиссерами и участниками переговоров оппозиции с властями. Смысл перелома одобряли примас Юзеф Глемп и епископат. Им, несомненно, покровительствовал сам Иоанн Павел II. Неудобный свидетель! Неужели мужи Церкви, такие чистые, мудрые, опытные, не разобрались, к какому жалкому делу прикладывают руки? И что, авторизуя «круглый стол», они фактически благословляют зародыш системы [союза коммунистов с лево-либеральной оппозицией]?»

Возник «спор светской власти с духовной»:

«Спор о ценностях, от которых нельзя отказываться, обо всей, как говаривали коммунисты, сфере надстрой-ки. Об иерархии ценностей, об истолковании истории. Буду повторять, пока не надоест: о власти над душами и совестью. Нынешняя власть присвоила себе право выносить приговоры, что есть добро, а что зло, какие позиции нравственны, а какие предосудительны, кто достоин называться истинным патриотом. Она приписывает себе силу категоризации понятий, принадлежащих иному порядку. Коллизия неизбежна. (...) В Церкви эта власть нуждается. Церковь должна ее поддерживать, давать ей легитимность, свидетельствовать о ее порядочности. Церковь представляет собой фактор равновесия, стабилизирует настроения, смягчает разочарования, вносит социальный мир. Вдобавок — шутка сказать! — она может указывать верующим, за кого голосовать, а затем воспитывать в них добродетель повиновения».



Однако этим критериям отвечает лишь одна церковная группировка, центр которой составляет католическая радиостанция «Мария», возглавляемая о. Рыдзиком. Это радио обладает немалой общественной базой и потенциалом массовой информации, дополняясь телевизионным каналом «Трвам» («Держусь»). Радио «Мария» настроено весьма националистически, консервативно и демагогически и дает опору нынешней правящей команде. Томаш Волек пишет:

«Это образцовый пример союза алтаря с престолом. (...) Широко понимаемый лагерь власти — это не только государственные учреждения, президент, премьер-министр, министры. Это и интеллектуальная база, готовящая решения, предоставляющая обоснования и интерпретации. Это СМИ, благожелательные к власти или прямо ей подчиненные. Но это еще и круги или группы граждан, которых можно мобилизовать и повести на акции поддержки или протеста, благодарности или справедливого гнева — в зависимости от потребности. Некоторые начинания [этого круга], вероятно, самое власть вводят в конфуз, — например попытка обострить закон об абортах (...) либо идея объявить Христа Королем Польши (эта идея была выдвинута в Сейме. — Л.Ш.). Усердие переплетается здесь с невежеством или обычной глупостью. (...) Политики хотели бы впрямь Церковь в свою колесницу, распространяя иллюзию нового союза алтаря с престолом. История многих стран показывает, что такой союз иногда укрепляет престол, зато ослабляет, а в конце концов обязательно разлагает алтарь. Это подтверждает и общественная интуиция. Опросы общественного мнения показывают, что Церкви по-прежнему доверяют 70% поляков. Но целых 60% упрекают ее во вмешательстве в политику. Люди ожидают, что она будет выполнять свои естественные функции: совершать таинства, крестить, преподавать Закон Божий, сопутствовать человеку с самого начала до самого конца, нести духовное утешение, проявлять христианское милосердие, указывать перспективу спасения, приближать к Богу. Церкви уже не нужно играть заместительные роли, которые ей навязывал почти весь XX век. Она уже может сосредоточиться на исполнении своей изначальной миссии. Это требует великого смирения, поддержанного закалкой духа и силой воли. Верю, что польская Церковь проявит эти добродетели».

Наконец в заключение приведу отрывок из большой статьи католического публициста Стефана Франкевича «У польской Церкви проблемы с демократией» («Газета wyborcza», 2007, №59):

«Я считаю, что 17 с лишним лет, прошедших после перелома 1989 г., более чем доказали, что утопические методы польской Церкви, особенно заметные в поддержке «христианских» политических группировок или прямым участием в их создании, были анахроничны и всегда кончались поражением. Вредили они прежде всего Церкви (...). На основе многолетних наблюдений, особенно тех, что я сделал, работая в Ватикане, могу сказать, что искушению слишком утилитарного подхода к церковной иерархии поддавались почти все политические образования, левые и правые. С огорчением вынужден, однако, констатировать, что это наблюдение относится главным образом к группировкам, называющим себя «христианскими». Их отношение «служек» к епископам и неустанная потребность в церковной легитимизации, особенно в тот момент, когда в опасности оказываются партийные интересы и карьеры, становилась часто карикатурой соборного представления (речь идет о II Ватиканском соборе. — Л.Ш.) о «политической любви», то есть в каком-то смысле высшем проявлении любви к ближнему. Одновременно должен признать, что в учительстве Иоанна Павла II точнее всех усматривали самые важные моменты, больше всего недостающие нашей общественной жизни, те приезжавшие в Ватикан политики, которые не были связаны с религией и Церковью. (...) Воцарится ли наконец в польской общественной жизни атмосфера действительного уважения к автономии государства и автономии Церкви, независимых друг от друга и сотрудничающих в служении человеку и общему благу? Это прежде всего зависит от примера самой Церкви. Достичь этого можно, если епископы и священники сосредоточатся на благовествовании Евангелия, а когда наступит такая необходимость — на исполнении пророческой миссии Церкви путем разоблачения несправедности и зла, в частности — а может быть прежде всего — по отношению к власти, ссылающейся на христианские ценности».

Похоже, что наконец-то начинается серьезная дискуссия о традициях и будущем католической Церкви в Польше. Обязательно надо добавить: в демократической Польше.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Год памяти К. Шимановского

О. Закиров: из воспоминаний

А. Новак о «Великом Новгороде» Стефана Братковского

А. Рыбак о Дворце культуры и науки в Варшаве

М. Выка о Станиславе Бжозовском

Г. Хлыстовский: действительно ли мы не издаем русских писателей?

Р. Пшибыльский об Иосифе Бродском и Анне Ахматовой

Б. Поцей о Ванде Ландовской

К. Яновская и П. Мухарский: Беседы к началу столетия

Наши за границей: А. Северин, В. Пшоняк, З. Рыбчинский,

А. Холланд, Р. Полянский, А. Кшивицкий и др.

Беседы Сильвии Фролов с В. Зином, Л. Турским

СТИХОТВОРЕНИЯ

Милоша, Стахуры, Бялошевского, Хартвиг,

Яструпа, Херберта и др.,

в переводах

Бродского, Базилевского, Астафьевой, Ройтмана,

Британишского, Горбаневской, Свяцкого и др.

Журнал «Новая Польша»

допущен к распространению на территории Российской Федерации

Решением Министерства Российской Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

(Свидетельство регистрации средства массовой информации **ПИ №77-1063** от 3 ноября 1999 года)

Лучшие писатели и критики Национальная Библиотека представляет журналы:

twórczość

Старейший польский литературный ежемесечник, посвященный современной прозе, поэзии и литературной критике. Оказывает влияние на перемены в польской литературе.
тел.: +48 (22) 627-15-52;
тел./факс: +48 (22) 628-95-07
e-mail: tworczość@bn.org.pl
www.culture.pl/pl/culture/artykuly/cz_tworczość

NOWE KSIĄŻKI

Ежемесечник. На протяжении более полувека незаменимый источник информации о книгах. В каждом номере рецензии, интервью, статьи о писателях, публицистика, библиография, анонсы.
тел.: +48 (22) 826-62-60;
тел./факс: +48 (22) 826-62-35
e-mail: noweksiążki@wp.pl

DIALOG

Ежемесечный журнал, посвященный современной театральной, телевизионной и радиодраматургии.
тел.: +48 (22) 608-28-80, +48 (22) 608-28-81;
тел./факс: +48 (22) 608-28-82
e-mail: dialog@bn.org.pl
www.dialog.waw.pl

OWUTYGOŚNIK ruch muzyczny

Старейший и единственный в Польше журнал, посвященный музыкальной жизни, творчеству и вопросам музыки. Выходит 26 раз в году.
тел.: +48 (22) 608-28-70, +48 (22) 608-28-71;
тел./факс: +48 (22) 608-28-72
e-mail: ruchmuzyczny@onet.pl
www.ruchmuzyczny.pl

LITERATURA na świecie

Ежемесечник. Единственный журнал, уже многие годы публикующий все достойные внимания новинки современной мировой литературы.
тел.: +48 (22) 827-47-91;
тел./факс: +48 (22) 828-64-96
e-mail: litnasw@free.art.pl

НОВАЯ ПОЛЬША

Ежемесечник. Единственный журнал о Польше на русском языке. Богатая подборка публицистики польских и российских авторов. Переводы малоизвестных в России произведений польских поэтов и прозаиков.
тел.: +48 (22) 608-25-65, +48 (22) 608-27-95
тел./факс: +48 (22) 608-27-96; +48 (22) 608-25-05
e-mail: nowopol@bn.org.pl
www.nowopol.ru

odra miesięcznik

Ежемесечный журнал, широко представляющий современные проблемы общества и искусства. Форум критической гуманитарной мысли. Польша и мир, история и возможное будущее.
тел.: +48 (71) 344-77-37;
тел./факс: +48 (71) 343-55-16
e-mail: odra@odra.net.pl
www.odra.net.pl

a akcent literatura i sztuka • kwartalnik

Ежеквартальный журнал, посвященный литературе и другим областям искусства в контексте последних достижений гуманитарной мысли. Выходит в Люблине с 1980 года.
тел./факс: +48 (81) 532-74-69
e-mail: akcent_pismo@gazeta.pl
www.akcent.glt.pl

TEATR

Ежемесечник, посвященный современному театру. Обзор последних премьер в Польше и за границей, критика, эссе, комментарии.
тел. +48 (022) 692 88 19;
тел./факс: +48 (022) 692 88 18
e-mail: teatr@bn.org.pl



Dział Wydawniczy Czasopism Patronackich

02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213, tel. +48 (022) 608 23 74; tel./fax +48 (022) 608 24 88
e-mail: czasopatron@bn.org.pl; www.bn.org.pl

Cena 7 zł w tym 0% VAT

ISSN 1508-5589

